

■ ПРОЗА ■ ИССЛЕДОВАНИЯ ■ ДОКУМЕНТЫ ■

Ю.С. СЕМЕНОВ

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ



Ю.С. Семенов



100 лет Службе внешней разведки

Юлиан Семенов

Семнадцать мгновений весны

«ВЕЧЕ»

1969, 1982

Семенов Ю. С.

Семнадцать мгновений весны / Ю. С. Семенов — «ВЕЧЕ», 1969,
1982 — (100 лет Службе внешней разведки)

ISBN 978-5-4484-8465-0

В данное издание входят написанный на документальной основе роман «Семнадцать мгновений весны», где захватывающе рассказывается о срыве советской разведкой сепаратных переговоров Гиммлера с Даллесом в период Второй мировой войны, и роман «Приказано выжить» — о последних днях Третьего рейха весной 1945 года.

ISBN 978-5-4484-8465-0

© Семенов Ю. С., 1969, 1982

© ВЕЧЕ, 1969, 1982

Содержание

Семнадцать мгновений весны	6
«Кто есть кто?»	6
«Кем они меня там считают?»	19
Информация к размышлению	25
Информация к размышлению	29
Информация к размышлению	35
Информация к размышлению	41
Расстановка сил	44
Информация к размышлению	47
Информация к размышлению	56
Информация к размышлению	61
Информация к размышлению	74
Мера доверия	81
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Юлиан Семенович Семенов

Семнадцать мгновений весны

© Семенов Ю.С., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Семнадцать мгновений весны

Памяти отца посвящаю

«Кто есть кто?»

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежемороженой рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю – щелкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил сухонького, улыбчивого отца Николая Ивановича, – Бухарин-старший умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими – быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» – высвистывал старик.

И синицы отвечали ему – доверительно и весело.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, – подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. – И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям – соловей».

«Клаус сейчас придет, – подумал Штирлиц. – Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота...»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера – своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, – говорил он, – снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа – начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользен был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

...Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

– Сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и, если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете...

12.2.1945 (18 часов 38 минут)

«— Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?»

— Я думаю, что того и другого в человеке поровну.

— Так не может быть.

— Может быть только так.

— Нет. В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.

— Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.

— И эта закваска?

— Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?

— Да, да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.

— Да?

— Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоювать себе жизненное пространство.

— Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.

— А вы видите в каждом человеке бестию вообще.

— А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.

— Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.

— А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?

— Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.

— Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.

— Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.

— А Бог, он что — в каждом человеке?

— Разумеется.

— Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гиммлере?

— Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но, к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.

— Почему проклятие обезьяньего происхождения?

– Я говорю на своем языке.

– Значит, надо принять Божеский закон по уничтожению обезьян?

– Скорее всего, нет.

– Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не дадите ответа “да” или “нет”, а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно “да” и одно “нет”. У вас же есть “да нет”, “нет же”, “скорее всего, нет” и прочие фразеологические оттенки “да”. Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

– Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно... И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

– Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убегать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

– Что значит – подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело – подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело – попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей лишена совести... Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

– Пастор, мне неловко: может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но... Вы что, были в свое время в гестапо?

– Ну что же я могу вам сказать? Я был там...

– Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

– Мало ли кто сидел в гестапо.

– А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то – вернувшихся, как вы, – единицы из миллионов... Не очень-то паства поверит вам... Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

– Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

– И что тогда?

– Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать – умереть внутренне.

– Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь?

– Господь судит. Останусь так останусь.

– Ваша религия против самоубийства?

– Потому-то я и не покончу с собой.

– Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?

– Я буду верить, не проповедуя.

– А почему вы не видите для себя другого выхода – трудиться вместе со всеми?

– Что значит “трудиться”?

– Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки – хотя бы.

– Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории...

– Я лишь ставлю вопрос: а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение – так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.

– Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, – бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа – это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть мало сказать равноправный с любым другим трудом – труд духовный есть особо важный.

– Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.

– Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.

– Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.

– Мы не боимся правды жизни.

– Боитесь! Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

– Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду.

Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

– Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

– Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь: в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

– Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы – над схваткой, когда вы тоже в схватке?

– Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

– Вы очень материалистически спорите.

– Я спорю с материалистом.

– Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

– Я вынужден это делать.

– Послушайте... Во имя блага вашей паствы – мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

– С куревом у пастора было плохо? – спросил Штирлиц не оборачиваясь.

Он стоял у окна – громадного, во всю стену – и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц – из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда – изысканная и первоклассная, чаще всего французское вино.

– Да, я там замучился без курева... Старичок говорун, а мне хотелось повеситься без табака...

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал всевозрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? – подумал однажды Штирлиц. – Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет Ломброзо¹ – он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил...»

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

– Ну? – спросил он.

– Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

– Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно – наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

– Ну, это уж не стоит, – сказал Штирлиц, – это было бы неразумно.

– У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки...

– Я приготовлю вам хорошие рыбные консервы. Какие вы хотите?

– Я люблю в масле...

– Это я понимаю... Какого производства? Нашего или...

– «Или», – засмеялся Клаус. – Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты и питье, сделанные в Америке или во Франции...

– Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные... Масса фосфора... Знаете, я вчера посмотрел ваше досье...

– Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом...

– Это не так интересно, как кажется... Когда вы говорите, смеетесь, жалуетесь на боль в печени – это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию... А в вашем досье – скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас... Нет, это неинтересно... Занятно другое: я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе, было арестовано девяносто семь человек... Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали...

– Зачем вы говорите мне об этом?

– Не знаю... Пытаюсь анализировать, что ли... Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

– А как вы думаете?

– Я не знаю.

– Черт его поймет... Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка... То, что будет с ними потом, – не знаю... Что будет потом с нами? Со всеми?

– Тоже верно, – согласился Штирлиц.

– После нас – хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным... Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой...

Штирлиц спросил:

¹ Ломброзо Чезаре (1835–1909) – итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве. – Здесь и далее примеч. автора.

– Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

– Никто...

– Около девяти...

– Вы ошибаетесь, – ответил Клаус, – во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

– Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.

– Вы наблюдали за его домом?

– Конечно. Все время... Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

– Будет. Вообще, я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления...

– Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле... Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире... Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части...

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радио-аппарата. Они молчали, к ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

– Возьмите в серой папке лист бумаги, – сказал Штирлиц, – и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...»

– Зачем это? – спросил Клаус, подписывая письмо.

– Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, – ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. – Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

– Спасибо, – сказал Клаус, – только денег ведь у меня много...

– Больше не помешает, а? Или помешает?

– Да в общем-то – не помешает, – согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. – Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить...

– Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?

– Нечего вспоминать – никто...

– Я имею в виду и наших людей.

– Вообще-то меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то – вряд ли...

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством – он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой, – так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

– Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, – сказал Штирлиц. – И набросайте еще одно – пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

– «Честность подразумевает действие, – посмеиваясь, начал читать он, – вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии – предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство – никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие – это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну, как? Ничего?

– Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

– Нет. Если бы я мог писать – разве бы я стал... – Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

– Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умеете вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

– Что-то в этом роде.

– Не в этом роде, – исправил его Штирлиц, – а именно это вы хотели сказать. Нет?

– Да.

– Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.

– Квартира далеко?

– В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра...

Уже в машине Штирлиц спросил:

– О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?

– Я же говорил вам об этом – сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать...

– Правильно делали... И о Швейцарии он тоже молчал?

– Наглухо.

– Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны – это Штирлиц знал точно – находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки – раньше отсюда ловили рыбу – прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час, – он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени...

12.2.1945 (19 часов 56 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1930 года группенфюрера СС Крюгера: «Истинный ариец, преданный фюреру. Характер – нордический, твердый. С друзьями – ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочающих его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела...»)

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, начальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тяжелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

– У вас есть какое-либо оправдание – достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить

вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

– Нет, – ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, – достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я – солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

– Не будьте бабой, – сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. – Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

– Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить: все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно.

– Какое отношение к операции имел Штирлиц? – пожал плечами Кальтенбруннер. – Он из разведки, он занимался в Кракове иными вопросами.

– Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим ФАУ, но я считал своим долгом посвящать его во все подробности нашей операции, полагая, что, вернувшись, он доложит или рейхсфюреру, или вам о том, как мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил.

Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

– Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции «Шварцфайер». Узнайте, был ли на приеме у руководства Штирлиц после возвращения из Кракова, и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе.

Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица.

– Всю вину несу один я, – снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие, тяжелые слова, – мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы.

– А кто будет бороться с врагами здесь?! Я?! Один?! Это слишком просто – умереть за родину и фюрера на фронте! И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну! Здесь нужна не только храбрость, но и ум! Большой ум, Крюгер!

Крюгер понял: отправки на фронт не будет.

Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря.

– Нет, – сказал секретарь, – по возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву...

Крюгер решил продолжить свою игру, он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален.

– Обергруппенфюрер, тем не менее я прошу вас позволить мне уйти на передовую.

– Сядьте, – сказал Кальтенбруннер, – вы генерал, а не баба. Сегодня можете отдохнуть, а завтра подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу... Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел.

Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

– Подберите мне все дела Штирлица за последние год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг: Штирлиц ценный работник и смелый человек, не стоит бросать на него тень. Просто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка... И заготовьте приказ на Крюгера: мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо – там горячее место...

15.2.1945 (20 часов 30 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтоффа, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер – приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехтштрассе в Науэн: там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой.

Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет: так же, как и раньше, играла радиолка, и низкий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее...»

Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтофф из гестапо и сказал:

– Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам, в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи.

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.

– Неужели у вас нет глаз?! – кричал астроном. – Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас – это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить как людям! – Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: – Или убейте меня поскорее здесь...

– Погодите, – сказал Штирлиц. – Крик – не довод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?

– Что? – испуганно спросил астроном. Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома: он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам; к ним привыкают быстро, отвыкают – медленно.

– Я спрашиваю: каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий – значительно труднее.

– Я преклоняюсь перед астрологией, – ответил ученый, – и за это меня лишили кафедры в Бонне...

– Так ты поэтому так злобствуешь, собака?! – закричал Холтофф.

– Подождите, – сказал Штирлиц, досадливо поморщившись, – не надо кричать, право... Продолжайте, пожалуйста...

– Мы живем в год беспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество...

– Вы, вероятно, – спросил Штирлиц, – вывели какой-либо гороскоп?

– Гороскоп – это интуитивная, может быть даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на Земле с небом и солнцем... И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины...

– Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее, – сказал Штирлиц. – Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору.

Когда астронома увели, Штирлиц сказал:

– Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов.

– Но он говорит как настоящий англичанин из лондонского радио... Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой.

– Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это несерьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой: дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки, – пусть работает, он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу, и никаких бомбежек... Нет?

Холтофф усмехнулся:

– Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек...

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекидывать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе...

15.2.1945 (20 часов 44 минуты)

Стенограмма совещания у фюрера

Присутствовали Кейтель, Йодль, посланник Хавель – от министерства иностранных дел, рейхсляйтер Борман, обергруппенфюрер СС Фегеляйн – посланник ставки рейхсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шнеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Людде-Нейрат, адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки.

Борман. Кто там все время расхаживает? Это мешает!

Путкамер. Я попросил полковника фон Белова дать мне последнюю справку о положении люфтваффе в Италии.

Борман. Я не о полковнике. Все говорят, и это создает надоедливый, постоянный шум.

Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии.

Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания: вот коррективы сегодняшнего утра.

Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел.

Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на вывозе наших дивизий из Курляндии.

Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в четырехстах километрах от Ленинграда, притягивают к себе от сорока до семидесяти русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится – и отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану. В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться по крайней мере три русских.

Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал...

Кейтель. Я военный, а не политик.

Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны.

Гитлер. Для того чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется – учитывая опыт Либавской операции – по крайней мере полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы, именно часы – для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос: возможна ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера, я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением; ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими или иными путями – утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрезвляет Сталина, как растерянность Запада, с одной стороны, и наши удары – с другой. Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии, Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с «не родиной», уже ослаблены и – в определенной мере – деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев! Только наша нация может одержать и обязана одержать победу! В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна – я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию Чешского и Богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это – сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи – материальной и

духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере быстро мы используем этот материал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее: 6-я танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая, таким образом, надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии, с одной стороны, и подготавливая выход во фланг русским – с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надьканиже, мы имеем семьдесят тысяч тонн нефти. Нефть – это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее: группа армий «Весла», собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланги русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейхсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой; поддерживаемые иттеттинской группировкой, они разрезают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина – это вопрос вопросов. Расстояния против него. Расстояния, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и – практически – делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на запад значительную группу войск с юга и с севера. У нас будет время: Сталину потребуется два-три месяца для перегруппировки резервов, нам же для переброски людей – пять дней; расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии.

Йодль. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии...

Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более четырех миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы слиты воедино. Мы, нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружения в четыре раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас: неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический?

Кейтель. Как сказал рейхсфюрер Борман, военный сейчас одновременно и политик.

Борман. Вы не согласны?

Кейтель. Я согласен.

Гитлер. Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал.

Кейтель. Да, мой фюрер. Мы подготовим общую наметку, и, если вы одобрите ее, мы начнем отработку всех деталей.

Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стенографисток.

– Пожалуйста, срочно расшифруйте то, что я вам сейчас продиктую, и разошлите от имени ставки всем высшим офицерам вермахта... Итак: «В своей исторической речи 15 февраля в ставке наш фюрер, осветив положение на фронтах, в частности, сказал: “Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников”».

«Кем они меня там считают?» (Задание)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС (VI отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер – нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль: снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето и можно уехать на Могельзее и там ловить рыбу или спать в шезлонге.

Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один: его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице – сдали нервы от бесконечных налетов.

Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».

«Наверное, саксонка, – думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, – черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».

– Который час? – спросил Штирлиц.

– Около семи...

Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка... Она может себе позволить это “около семи”. Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия... Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта...»

Услыхав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул:

– Девочка, посмотри, кого там принесло?

Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала:

– К вам господин из полиции.

Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзиной в руке.

– Штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него...

– Спасибо, – ответил Штирлиц, – положите в холодильник. Девочка вам поможет.

Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:

– Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.

«Девочка впервые увидела столько продуктов, – понял он. – Бедная девочка».

Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:

– Девочка... половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого...

– Что вы, герр Штирлиц, – ответила она, – я не из-за продуктов...

– Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?

– Седые мужчины мне нравятся больше всего.

– Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества... Как тебя зовут?

– Мари... Я ж говорила... Мари.

- Да, да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?
- Девятнадцать.
- О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии?
- Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители.
- Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить, тебе будет страшно идти, когда бомбят.

Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что поленца сложены именно так, как он любил: ровным колодцем, и даже береста лежала на голубом грубом блюде.

«Я ей об этом не говорил. Или нет... Сказал. Мимоходом... Девочка умеет запоминать, – думал он, зажигая бересту, – мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе как о старике: сорок пять лет...»

Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву: передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам: «Это непатриотично – слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Если «наци № 2» таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гимmlера, не отличавшегося особым изыском в мышлении.

Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры: это было донесение, предназначенное для него, он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную колонку: цифр было много, и, видимо опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз.

А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы. Штирлиц достал из книжного шкафа томик Монтеня, перевел цифры в слова и соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя.

«Кем они считают меня? – подумал он. – Гением или всемогущим? Это же невысказано...»

Думать так у Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило:

Юстасу. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резиденцию союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов: 1) дезинформацией, 2) личной инициативой высших офицеров СД, 3) выполнением задания центра.

В случае, если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно: кто из высших руководителей рейха ищет контактов с Западом. Алекс.

...За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Юстаса, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на «Ближнюю дачу» начальника разведки и сказал ему:

– Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому неопасной... Германия – это сжатая до предела пружина, которую должно и

можно сломить, прилагая равно мощные усилия с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирающее, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. И это будет сильный удар, во-первых, потому, что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен, а во-вторых, потому, что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. Естественно, – продолжал Сталин, – вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами в этих возможных сепаратных переговорах будут скорее всего ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, который на грани падения, будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь. Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы – пеняйте на себя. ЧК беспощадна, – неторопливо закурил, добавил Сталин, – не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу – вольно или невольно...

Где-то далеко завывали сирены воздушной тревоги, и сразу же залаяли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки.

«Если закрыть вытяжку, – лениво подумал Штирлиц, – через три часа я усну. Так сказать, почил в бозе... Мы так чуть не угорели с бабушкой на Якиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова – черно-красные, с такими же голубыми огоньками. А газ, которым мы отравились, был бесцветным. И совсем без запаха... По-моему...»

Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна: какой-то странный пупырчатый сосуд, вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжающих в Испанию, привозить ему цветные свечи: после эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым.

Неподалеку тяжело рвануло подряд два раза.

«Фугаски, – определил он. – Здоровые фугаски. Бомбят ребята славно. Просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни. Наши и следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно. Сашенька, – вдруг увидел он лицо жены. – Сашенька маленькая и Сашенька большой... Теперь умирать совсем не с руки. Теперь надо во что бы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А поводав сына – погибать страшно.

Идиоты пишут в романах: он умер тихо, на руках у любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках своих детей, видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец, и тьма, и горе им...»

Однажды на приеме в советском посольстве на Унтерден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом с молодым советским дипломатом, хмуро – по своей обычной манере – слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, «дикарскую требуху». В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор.

«Светит фарами, – подумал он, – присматривается к противнику: характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг умеет делать, как никто другой».

– Если вам все ясно в этом мире, – продолжал Шелленберг, – тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику...

– Кто из физиков или математиков, – горячился секретарь посольства, – приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс.

«Ему надо было остановиться на вопросе, – отметил для себя Штирлиц, – а он не выдержал – сам себе ответил. В споре важно задавать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать...»

– Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого? – спросил Шелленберг. – Или вы отвергаете такую возможность?

– Наивно отвергать возможность. Категория возможности – парафраз понятия перспективы.

«Хорошо ответил, – снова отметил для себя Штирлиц. – Надо было отыграть... Спросить, например: “Вы не согласны с этим?” А он не спросил и снова подставил-ся под удар».

– Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятой возможности? Или вы против? Штирлиц пришел на помощь.

– Немецкая сторона победила в споре, – констатировал он, – однако истины ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке – вопросами...

«Понял, братишечка?» – спрашивали глаза Штирлица, и по тому, как замер враз взбужшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят...

«Не сердись, милый, – думал он, глядя на отошедшего парня, – лучше это сделать мне, чем кому-то другому... Только не прав ты про амулет... Когда мне очень плохо и я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет – медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос... Мне пришлось выбросить ее медальон – он был слишком русским, и я купил немецкий, тяжелый, нарочито богатый, а прядь волос – золотисто-белых, ее, Сашенькиных, – со мной, и это мой амулет...»

Двадцать три года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией – в Шанхай. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем; она стала его частью, она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я»...

Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове в конце 1944-го. Он вспомнил, как «Гришанчиков» приходил к нему в гостиницу и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва – так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном – из Берлина до Праги всего шесть часов езды – может поставить его под удар...

В сорок втором году во время бомбежки под Великими Луками убило шофера Штирлица – тихого, вечно улыбавшегося Фрица Рошке. Парень был честный; Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из IV отдела РСХА весьма настойчиво.

Штирлиц, оправившись после контузии, заехал в док под Карлсхорстом, где жила вдова Рошке. Женщина лежала в нетопленном доме и бредила. Полуторагодовалый сын Рошке Генрих ползал по полу и тихонько плакал: кричать мальчик не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача. Женщину увезли в госпиталь: крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал

к себе: его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его молоком, хотела было положить у себя.

– Постелите ему в спальне, – сказал Штирлиц, – пусть он будет со мной.

– Дети очень кричат по ночам.

– А может быть, я именно этого и хочу, – тихо ответил Штирлиц, – может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети.

Старушка посмеялась: «Что может быть в этом приятного? Одно мучение».

Но спорить с хозяином не стала. Она проснулась часа в два. В спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка надела теплый стеганный халат, наскоро причесалась и спустилась вниз. Она увидела свет в спальне. Штирлиц ходил по комнате, прижав к груди мальчика, завернутого в плед, и что-то тихо напевал ему. Старушка никогда не видела такого лица у Штирлица – оно до неузнаваемости изменилось, и старушка даже поначалу подумала: «Да он ли это?» Лицо Штирлица – обычно жесткое, моложавое, сейчас было очень старым и даже, пожалуй, женственным.

Наутро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в семь часов садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе – без молока и сахара, потом намажет тостик мармеладом и выпьет вторую чашку кофе – теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас было уже восемь, а в спальне царила тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услышал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика.

– Мне говорил племянник, – улыбнулась экономка, – что только русские кладут детей к себе в кровать...

– Да? – удивился Штирлиц. – Почему?

– От свинства...

– Значит, вы считаете своего хозяина свиньей? – хохотнул Штирлиц.

Экономка смешалась, покрываясь красными пятнами.

– О господин Штирлиц, как можно... Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты...

Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рошке умерла час назад. Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать Фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, дивясь самому себе, испытал затаенную радость: теперь он мог усыновить мальчика. Он бы сделал это, если бы не страх за будущее Генриха. Он знал участь детей тех, кто становился врагом рейха: детский дом, потом концлагерь, а после – печь...

Штирлиц отправил малыша в горы, в Тюрингию, в семью экономки.

– Вы правы, – посмеиваясь, сказал он женщине за завтраком, – маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин...

Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась. А ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно – приучить за эти три недели к себе малыша, а потом отправить его в горы, к новым людям, – значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие, добрые песни.

– Я понимаю, – закончил Штирлиц, – вам это кажется жестокостью. Но что же делать людям моей профессии? Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?

Экономку всегда поражало умение Штирлица угадывать ее мысли.

– О нет, – сказала она, – я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен, ваш поступок, господин Штирлиц, в высшей мере разумен.

Она даже и не поняла: сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он понял ее мысли.

...Штирлиц поднялся и, взяв свечу, подошел к столу. Он достал несколько листов бумаги и разложил их перед собой, словно карты во время пасьянса. На одном листе бумаги он нарисовал толстого, высокого человека. Он хотел подписать внизу – Геринг, но делать этого не стал. На втором листке он нарисовал лицо Геббельса, на третьем – сильное, со шрамом лицо: Борман. Подумав немного, он написал на четвертом листке: «рейхсфюрер СС». Это был титул его шефа, Генриха Гиммлера.

...Разведчик, если он оказывается в средоточии важнейших событий, должен быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным – сродни актеру; но при этом эмоции обязаны быть в конечном счете подчинены логике, жестокой и четкой.

Штирлиц, когда ночью, да и то изредка, позволял себе чувствовать себя Исаевым, рассуждал так: что значит быть настоящим разведчиком? Собрать информацию, обработать объективные данные и передать их в Центр – для политического обобщения и принятия решения? Или сделать свои, сугубо индивидуальные выводы, наметить свою перспективу, предложить свои выкладки? Исаев считал, что если разведке заниматься планированием политики, тогда может оказаться, что рекомендаций будет много, а сведений – мало. Очень плохо, считал он, когда разведка полностью подчинена политической, заранее выверенной линии: так было с Гитлером, когда он, уверовав в слабость Советского Союза, не прислушался к осторожным мнениям военных: Россия не так слаба, как кажется. Также плохо, думал Исаев, когда разведка тщится подчинить себе политику. Идеально, когда разведчик понимает перспективу развития событий и предоставляет политикам ряд возможных, наиболее, с его точки зрения, целесообразных решений.

Разведчик, считал Исаев, может сомневаться в непогрешимости своих предсказаний, он не имеет права на одно только: он не имеет права сомневаться в их полной объективности.

Приступая сейчас к последнему обзору материала, который он смог собрать за все эти годы, Штирлиц поэтому обязан был взвесить все «за» и «против»: речь шла о судьбах Европы и ошибиться в анализе никак нельзя.

Информация к размышлению (Геринг)

Боевой летчик Первой мировой войны, герой кайзеровской Германии, Геринг после первого нацистского выступления сбежал в Швецию. Начал работать там летчиком гражданской авиации и однажды, в страшный шторм, он чудом усадил свой одномоторный аэроплан в замке Роклштадт, там познакомился с дочерью полковника фон Фока, Кариной фон Катцов, отбил ее у мужа, уехал в Германию, встретился с фюрером, вышел на демонстрацию национал-социалистов в ноябре 1923 года, был ранен, чудом избежал ареста и эмигрировал в Инсбрук, где его уже ждала Карина. У них не было денег, но владелец отеля кормил их бесплатно: он был так же, как Геринг, национал-социалистом. Потом Герингов пригласил в Венецию хозяин отеля «Британия», и там они жили до 1927 года, до того дня, как в Германии была объявлена амнистия. Менее чем через полгода Геринг стал депутатом вместе с другими одиннадцатью нацистами. Гитлер баллотироваться не мог: он был австрийским гражданином.

Карина писала своей матери в Швецию: «В рейхстаге Герман сидит вместе с генералом фон Энн из Баварии. Рядом много уголовных типов из Красной гвардии – со звездами Давида и с красными звездами, впрочем, это одно и то же. Кронпринц прислал Герману телеграмму: “Только вы с вашей выправкой можете представлять германцев”».

Надо было готовиться к новым выборам. По решению фюрера Геринг ушел с партийной работы, он оставался только членом рейхстага. Его тогдашняя задача: наладить связи с сильными мира сего – партия, намеревающаяся взять власть, должна иметь широкий круг связей. По решению партии он снял шикарный особняк на Баденштрассе: там принимал принца Гогенцоллерна, принца Кобурга, магнатов. Душой дома была Карина: обаятельная женщина, аристократка, она импонировала всем – дочь одного из высших сановников Швеции, ставшая женой героя войны, изгнанника, борца против разложившейся западной демократии, которая не в силах противостоять большевистскому вандализму.

Каждый раз перед приемом рано утром приезжал партайляйтер берлинской нацистской организации Геббельс. Он был связным между партией и Герингом. Геббельс садился к роялю, а Геринг, Карина и Томас, ее сын от первого брака, пели народные песни: в доме лидера нацистов не переносили разнузданных ритмов американского или французского джаза.

Именно сюда, в особняк, снятый на деньги партии, 5 января 1931 года приехали Гитлер, Шахт и Тиссен. Именно этот шикарный особняк услышал слова сговора финансовых и промышленных воротил с фюрером национал-социалистов Гитлером, призывавшим рабочих Германии «сбросить иго коминтерновского большевизма и растленного империализма и сделать Германию государством народа».

После рэмовского путча, когда в оппозицию к фюреру стали многие ветераны, пошли разговоры:

– Геринг перестал быть Германом, он стал президентом... Он не принимает товарищей по партии, их унижительно ставят на очередь в его канцелярии... Он погряз в роскоши...

Сначала об этом говорили вполголоса только рядовые члены партии. Но когда Геринг в 1935 году построил под Берлином замок Каринхале, Гитлеру пожаловались на него уже не рядовые национал-социалисты, а главари – Лей и Заукель. Геббельс считал, что Геринг начал портиться еще в своем особняке.

– Роскошь засасывает, – говорил он, – Герингу надо помочь, он слишком дорог всем нам. Гитлер поехал в Каринхале, осмотрел этот замок и сказал:

– Оставьте Геринга в покое. В конце концов, он один знает, как надо представляться дипломатам. Пусть Каринхале будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть! Гер-

ман этого заслужил. Будем считать, что Каринхале принадлежит народу, а Геринг только живет здесь...

Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюль Верна и Карла Мэя, – это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале: он мог смотреть по пять приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей.

– Не волнуйтесь, – говорил он, – конец будет хороший...

Отсюда, из Каринхале, после просмотра приключенческих фильмов, он вылетал в Мюнхен – принимать капитуляцию Чемберлена, в Варшаву – наблюдать расстрелы в гетто, в Житомир – планировать уничтожение славян...

В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало триста вражеских самолетов. Гауляйтер Киля Грохе, поседевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга: в налете принимало участие восемьсот бомбардировщиков, а люфтваффе была бессильна и ничего не смогла сделать для того, чтобы спасти город.

Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробежала по его лицу. Потом он взорвался:

– «Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии?!» – нервно, с болью заговорил он, не глядя на Геринга. – Кто объявил об этом нации? Кто уверял в этом нашу партию?! Я читал в книгах об азартных карточных играх – мне знакомо понятие блефа! Германия не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг! Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ! Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага! Признание вождя – это величие нации! Удел вождя – скромность! Профессия вождя – точное соотношение обещаний с их выполнением!

Из заключения врачей, прикрепленных к рейхсмаршалу, стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке.

Итак, в 1942 году впервые Геринг, «наци № 2», официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унижительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гиммлера, и на следующий день, не испрашивая разрешения Гитлера, рейхсфюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера.

Впрочем, впервые Гиммлер в течение недели прослушивал разговоры рейхсмаршала уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен: «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался: Геринг. Без инициалов. Перепуганный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей: один из них был профессором, а второй – подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата: он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру как о занятном анекдоте.

Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману:

– Никто иной не может быть моим преемником, кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику, во-вторых, он популярен в народе, и, в-третьих, он – главный объект для карикатур во вражеской печати.

Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти, о человеке, который совершенно искренне сказал – и не кому-нибудь, а жене, и не для диктофонов – он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, – а ночью, в постели:

– Не я живу, но фюрер живет во мне...

15.2.1945 (22 часа 32 минуты)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года обергруппенфюрера СС, начальника IV отдела РСХА (гестапо) Мюллера: «Истинный ариец. Характер – нордический, выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором...»)

Шеф службы имперской безопасности СД Эрнст Кальтенбруннер говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному «хохдойчу». Но из этой затеи ничего путного не вышло: он любил Вену, жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на «хохдойче» вместо своего веселого, хотя и вульгарного, венского диалекта. Поэтому в последнее время Кальтенбруннер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить, – по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте Инсбрука; в горах австрийцы говорят совершенно особенно, и Кальтенбруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик: сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали острое чувство растерянности и замешательства.

Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:

– Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем. Первое: Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу краковской операции. Он был там, но город, по странному стечению обстоятельств, остался невредим, хотя он должен был взлететь на воздух. Второе: он занимался исчезнувшим ФАУ, но он не нашел его, ФАУ исчез, и я молю Бога, чтобы он утонул в привисленских болотах. Третье: он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать – это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно... Четвертое: блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по коду, разведку большевиков, которым он занимался, по-прежнему работает в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений.

Мюллер работал сегодня всю ночь, не выспался, в висках шумело, поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток:

– У меня на него никогда сигналов не было. А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован.

– То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?

В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их.

– Почему же... – ответил он. – Появившееся подозрение нужно проанализировать со всех сторон, иначе зачем держать мой аппарат? Больше у вас нет никаких фактов? – спросил Мюллер.

Кальтенбруннеру табак попал в дыхательное горло, и он долго кашлял, лицо его покраснело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими, багровыми.

– Как вам сказать, – ответил он, вытирая слезы. – Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с

другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин... А Штирлиц отвечает: «Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально». Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе... Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает, в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя: «А вернется ли он оттуда? И если вернется, то не повяжется ли он там с инакомыслящими негодяями?» Я не смог себе ответить точно – ни в положительном, ни в отрицательном аспекте.

Мюллер спросил:

– Сначала вы посмотрите его досье, или сразу взять мне?

– Возьмите сразу вы, – схитрил Кальтенбруннер, успевший изучить все материалы.

Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтенбруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Кальтенбруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку «Наполеона», придвинул рюмку Мюллеру и спросил:

– Вы сильно пили?

– Совсем не пил.

– А что глаза красные?

– Я не спал, было много работы по Праге: наши люди там повисли на хвосте у подпольных групп.

– Крюгер будет хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку, это взбодрит вас.

– От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку.

– От этого не осовеете, – улыбнулся Кальтенбруннер и поднял свою рюмку. – Прозит!

Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх.

«Он здорово пьет, – отметил Мюллер, вицеживая свой коньяк, – сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку».

Кальтенбруннер закурил самые дешевые, крепкие сигареты «Каро» и спросил:

– Ну, хотите повторить?

– Спасибо, – ответил Мюллер, – с удовольствием.

Информация к размышлению (Геббельс)

Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождения в Бабельсберге, где была расположена киностудия рейха и где жили актрисы, его прозвали бабельсбергским бычком. В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене:

– Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными славянками!

Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись.

– Я поддерживаю вас, – сказал он, – а вашему мужу до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту – человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах...

Сейчас все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал:

– Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы: гауляйтер Берлина партайгеноссе Геббельс закрыл все цветочные магазины – тотальной войне не нужны цветы...

Когда через сорок минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала:

– К Герингам фюрер никогда бы не поехал...

Берлин лежал в развалинах, фронт проходил в ста сорока километрах от столицы тысячелетнего рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом, и лицо его было бледно от счастья: после шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом...

Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался рейхсфюрер, и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была феноменальная: он зрительно фотографировал текст, запоминая его почти механически, без всяких усилий.

«...В Англии эпидемия гриппа, – записывал Геббельс. – Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой.

2 марта 1943 года. Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После беседы со Шпеером в Оберзальцберге поехал к Герингу. У него в подвале 25 000 бутылок шампанского, у этого национал-социалиста! Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать, надо его принимать таким, каков он есть».

Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое, слово в слово, сказал о Геббельсе. Это было в сорок втором году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей, в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном «для работы». Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам – воды там было по щиколотку и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы: они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью, недостойной национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спало, выводил их. Гиммлер конечно же узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал: «Придется принимать его таким, каков он есть...»

(В этом же коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок шестьдесят тысяч евреев,

работавших в промышленности; именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить три миллиона поляков – вместо полутора миллионов, как было запланировано; именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда...)

«Геринг говорил мне, – продолжал Геббельс в своих дневниках, – о том, что Африка нам не нужна. “Нам надо думать о силе англо-американцев. Мы потеряем Африку так или иначе”. Он направил туда своего заместителя по люфтваффе фельдмаршала Альберта Кессельринга. Снова и снова он спрашивал меня, где большевики берут резервы солдат и оружия. Недоумевал, как британская плутократия может сотрудничать с большевиками, особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу двадцатипятилетия Красной Армии. Очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде. Его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен. Надо его взбодрить. Руководство без него невозможно.

Геринг говорит: “Наши поражения на востоке эти сволочи генералы объясняют условиями русской зимы, а это ложь! Паулюс – герой?! Да он же скоро будет выступать по московскому радио! Зачем мы врем народу, что он погиб героем? Фюрер не отдыхал три года. Он ведет жизнь спартанца, сидя в бункере, он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем пятьдесят обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда во время кризисов в партии, его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти!”

Геринг не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграй мы войну: один еврейский вопрос чего стоит!

– Война кончится политическим крахом, – согласился я с ним.

Тут я ему и предложил вместо “комитета трех” создать совет по делам обороны рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. Геринг хочет победить Гиммлера. Функ и Лей побеждены мной. Шпеер вообще мой человек. Геринг решил ехать в Берлин сразу после полета в Италию. Там он встретится с нами. Шпеер перед этим побеседует с фюрером. Я тоже. Вопрос назначений решим позже.

9 марта 1943 года. Прилетел в Винницу. Встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин. Он слушал меня внимательно и очень ругал Геринга. В связи с Герингом говорил и о генералах. Сказал, что не верит ни одному из них, только поэтому командует армией.

12 марта 1943 года. Я приказал напечатать в нашей прессе английские требования репараций к германскому народу в случае нашего поражения. Это потрясет немцев. Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Францию суверенной страной и не распространять на нее пропаганду партии. Слава богу, Геринг стал чаще появляться на людях. Его авторитет надо укреплять.

12 апреля 1943 года. Выехал на конференцию, созванную Герингом по вопросу о кризисе руководства. Мы с Функом приехали в Фрейлассинг, и здесь у меня начался приступ. Я вызвал профессора Морелла, и он запретил мне ехать дальше. На конференции Заукель дрался против Шпеера.

20 апреля 1943 года. Демонстрация в честь 54-летия фюрера. Меня посетил Лей и рассказал о конференции в Оберзальцберге. Ему не понравилась атмосфера. Он не верит, что Геринг может быть руководителем дел рейха, так как он скомпрометирован авиацией и бомбежками. Фюрер рад, что у меня с Герингом наладились отношения. Он считает, что когда партийные авторитеты объединены на благо родины, от этого выигрывает только он и партия. Пришел Шпеер. Считает, что Геринг устал, а Заукель болен паранойей. Ширах, как сказал фюрер, попал под влияние реакционеров из Вены и поэтому торпедирует идею тотальной войны...»

Штирлиц скомкал листки с изображениями Геринга и Геббельса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, снова вернулся к столу и закурил.

«Геббельс явно провоцировал Геринга. А в дневнике писал для себя и для потомства – слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик, он это не очень-то ловко делал. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал в Оберзальцберг на конференцию, идею которой сам подбросил Герингу?»

Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка: Гиммлер и Борман.

«Геринга и Геббельса я исключаю. Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти, но он в опале, он никому не верит, он лишен политической силы. Геббельс? Нет. Этот не пойдет. Этот фанатичен, этот будет стоять до конца. Один из двух: Гиммлер или Борман. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры: он знает, какой ненавистью окружено его имя... Да, на Гиммлера...»

Именно в это время Геринг, осунувшийся, бледный, с разламывающей голову болью, возвращался к себе в Каринхале из бункера фюрера. Сегодня утром он выехал на машине к фронту, к тому месту, где прорвались русские танки. Оттуда он сразу же ринулся к Гитлеру.

– На фронте нет никакой организации, – говорил он, – полный развал. Глаза солдат бессмысленны. Я видел пьяных офицеров. Наступление большевиков вселяет в армии ужас, животный ужас... Я считаю...

Гитлер слушал его полузакрыв глаза, придерживая правой рукой локоть левой, которая все время тряслась.

– Я считаю... – повторил Геринг.

Но Гитлер не дал ему продолжать. Он тяжело поднялся, покрасневшие глаза его широко раскрылись, усы дернулись в презрении.

– Я запрещаю вам впредь выезжать на фронт! – сказал он своим прежним, сильным голосом. – Я запрещаю вам распространять панику!

– Это не паника, а правда, – впервые в своей жизни возразил фюреру Геринг и сразу же почувствовал, как у него заохлодели пальцы ног и рук. – Это правда, мой фюрер, и мой долг сказать вам эту правду!

– Замолчите! Занимайтесь лучше авиацией, Геринг. И не лезьте туда, где нужно иметь спокойную голову, провидение и силу. Это, как выяснилось, не для вас. Я запрещаю вам выезжать на фронт – отныне и навсегда.

Геринг был раздавлен и уничтожен, он чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества – адъютанты фюрера.

В Каринхале его уже ждали штабисты люфтваффе: он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Но совещание начать не удалось: адъютант доложил, что прибыл рейхсфюрер СС Гиммлер.

– Он просил разговора наедине, – сказал адъютант с той долей многозначительности, которая делает его работу столь загадочной для окружающих.

Геринг принял рейхсфюрера у себя в библиотеке. Гиммлер был, как всегда, улыбчив и спокоен. Он сел в кресло, снял очки, долго протирал стекла замшей, а потом без всякого перехода сказал:

– Фюрер больше не может быть вождем нации.

– А что же делать? – машинально спросил Геринг, не успев даже толком испугаться слов, произнесенных лидером СС.

– Вообще-то в бункере войска СС, – так же спокойно, ровным своим голосом продолжал Гиммлер, – но не в этом в конечном счете дело. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу.

Геринг посмотрел на толстую черную папку, лежавшую на коленях Гиммлера. Он вспомнил, как в сорок четвертом его жена, разговаривая по телефону с подругой, сказала: «Лучше приезжай к нам, говорить по телефону рискованно, нас подслушивают». Геринг вспомнил, как он тогда постучал пальцами по столу и сделал жене знак: «Не говори так, это безумие». И сейчас он смотрел на черную папку и думал, что там может быть диктофон и что этот разговор через два часа будет проигран фюреру. И тогда – конец.

«Он может говорить все, что угодно, – думал Геринг о Гиммлере, – отец провокаторов не может быть честным человеком. Он уже знает про мой сегодняшний позор у фюрера. Он пришел довести до конца свою партию».

Гиммлер, в свою очередь, понимал, что думает «наци № 2». Поэтому он, вздохнув, решил помочь ему.

– Вы – преемник, следовательно, вы – президент. Таким образом, я – рейхсканцлер.

Он понимал, что нация не пойдет за ним как за вождем СС. Нужна фигура прикрытия.

Геринг ответил – тоже автоматически:

– Это невозможно... – Он помедлил мгновение и добавил, очень тихо, рассчитывая, что шепот не будет записан диктофоном, если он спрятан в черной папке: – Это невозможно. Один человек должен быть и президентом и канцлером.

Гиммлер чуть улыбнулся, посидел несколько мгновений молча, а потом пружинисто поднялся, обменялся с Герингом партийным приветствием и неслышно вышел из библиотеки...

15.2.1945 (23 часа 54 минуты)

Штирлиц спустился из кабинета в гараж. По-прежнему бомбили, но теперь где-то в районе Цоссена – так ему, во всяком случае, казалось. Штирлиц открыл ворота, сел за руль и включил зажигание. Усиленный мотор его «хорька» заурчал ровно и мощно.

«Поехали, машинка», – подумал он по-русски и включил радио. Передавали легкую музыку. Во время налетов обычно передавали веселые песенки. Это вошло в обычай: когда здорово били на фронте или сильно долбали с воздуха, радио передавало веселые, смешные программы. «Ну, едем, машинка. Быстро поедем, чтобы не попасть под бомбу. Бомбы чаще всего попадают в неподвижные цели. Поедем со скоростью семьдесят километров: значит, вероятность попадания уменьшится именно в семьдесят раз...»

Его радисты – Эрвин и Кэт – жили в Кепенике, на берегу Шпрее. Они уже спали, и Эрвин и Кэт. Они в последнее время ложились спать очень рано, потому что Кэт ждала ребенка.

– Ты славно выглядишь, – сказал Штирлиц, – ты относишься к тем редким женщинам, которых беременность делает неотразимыми.

– Беременность делает красивой любую женщину, – ответила Кэт, – просто ты не имел возможности это замечать...

– Не имел возможности, – усмехнулся Штирлиц, – это ты верно сказала.

– Тебе кофе с молоком? – спросила Кэт.

– Откуда молоко? Я забыл привезти вам молока. Черт...

– Я выменял на костюм, – ответил Эрвин. – Ей надо обязательно хоть немного молока.

Штирлиц погладил Кэт по щеке и спросил:

– Ты поиграешь нам что-нибудь?

Кэт села к роялю и, перебрав ноты, открыла Баха. Штирлиц отошел к окну и тихо спросил Эрвина:

– Ты проверь, они тебе не всадили какую-нибудь штуку в отдушину?

– Я проверял, ничего нет. А что? Твои братья в СД уже изобрели новую гадость?

– А черт их знает.

– Ну? – спросил Эрвин. – Что?

Штирлиц хмыкнул и покачал головой.

– Понимаешь, – медленно заговорил он, – я получил задание... – он снова хмыкнул. – Мне следует наблюдать за тем, кто из высших бонз собирается выйти на отдельные переговоры с Западом. Они имеют в виду гитлеровское руководство, не ниже. Как тебе задача, а? Веселая? Там, видимо, считают, что, если я не провалился за эти двадцать лет, значит, я все-силен. Неплохо бы мне стать заместителем Гитлера. Или вообще пробиться в фюреры, а? Я становлюсь брюзгой.

– Тебе это идет, – ответил Эрвин.

– Как ты думаешь рожать, девочка? – спросил Штирлиц, когда Кэт перестала играть.

– По-моему, нового способа еще не изобрели, – улыбнулась женщина.

– Я говорил позавчера с одним врачом-акушером. Я не хочу вас пугать, ребята... – Он подошел поближе к Кэт и попросил: – Играй, малыш, играй. Я не хочу вас пугать, хотя сам здорово испугался. Этот старый доктор сказал мне, что во время родов он может определить происхождение любой женщины.

– Я не понимаю, – сказал Эрвин.

Кэт оборвала музыку.

– Не пугайся. Сначала выслушай, а после станем думать, как вылезать из каши. Понимаешь, женщины-то кричат во время родов.

– Спасибо, – ответила Кэт, – а я думала, они поют песенки.

Штирлиц покачал головой, вздохнул:

– Понимаешь, они кричат на родном языке. На диалекте той местности, где родились. Значит, тебе предстоит кричать «мамочка» по-рязански...

Кэт продолжала играть, но Штирлиц увидел, как глаза ее – вдруг сразу – набухли слезами.

– Что станем делать? – спросил Эрвин.

– А если отправить вас в Швецию? Я, пожалуй, смогу это устроить.

– И останешься без последней связи? – спросила Кэт.

– Здесь буду я, – сказал Эрвин.

Штирлиц отрицательно покачал головой:

– Одну тебя не выпустят. Только если вместе с ним: он, как инвалид войны, нуждается в лечении в санатории, есть приглашение от немецких родственников из Стокгольма... Одну тебя не пустят. Ведь его дядя у нас числится шведским нацистом, а не твой...

– Мы останемся здесь, – сказала Кэт, – ничего. Я стану кричать по-немецки.

– Можешь добавлять немного русской брани, но обязательно с берлинским акцентом, – пошутил Штирлиц. – Решим это завтра: подумаем не спеша и без героических эмоций. Поехали, Эрвин, надо выходить на связь. В зависимости от того, что мне завтра ответят, мы и примем решение.

Через пять минут они вышли из дома. Эрвин в руке держал чемодан, в чемодане была рация. Они отъехали километров пятнадцать, к Рансдорфу, и там, в лесу, Штирлиц выключил мотор. По-прежнему продолжалась бомбежка. Эрвин посмотрел на часы и сказал:

– Начали?

– Начали.

Алексу. По-прежнему убежден, что ни один из серьезных политиков Запада не пойдет на переговоры с СС. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации.

Считаю, что оно может быть выполнено, если я сообщу часть полученных от вас данных Гиммлеру. Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто, по-вашему, нащупывает каналы возможных переговоров. Мой «донос» Гиммлеру – частности я организую здесь, на месте, без консультаций с вами – поможет мне информировать вас обо всех новостях, как в плане подтверждения вашей гипотезы, так и в плане опровержения ее. Иного пути в настоящее время не вижу. В случае одобрения прошу передать «добро» по каналу Эрвина.

Юстас.

Это донесение произвело в Москве впечатление разорвавшейся бомбы.

– Он на грани провала, – сказал руководитель Центра. – Если он пойдет напрямую к Гиммлеру, провалится сразу же, ничто его не спасет. Даже если предположить, что Гиммлер решит поиграть им... Хотя вряд ли, не та он фигура для игр рейхсфюрера СС. Передайте ему завтра утром категорический запрет.

То, что знал Центр, Штирлиц знать не мог, потому что сведения, подобранные Центром за несколько последних месяцев, давали совершенно неожиданное представление о Гиммлере.

Информация к размышлению (Гиммлер)

Он проснулся сразу – словно ощутив толчок в плечо. Он сел на кровати и быстро огляделся. Было очень тихо. Светящиеся стрелки маленького будильника показывали пять часов.

«Рано, – подумал Гиммлер, – надо еще поспать хоть часок».

Он зевнул и повернулся к стене. В открытую форточку доносился шум леса. С вечера шел снег, и Гиммлер представил себе, какая сейчас красота в этом тихом, пустом, зимнем лесу. Он вдруг подумал: ему было бы страшно одному уйти в лес – так страшно, как в детстве.

Гиммлер поднялся с кровати, накинул халат и пошел к столу. Не зажигая света, сел на краешек деревянного кресла и опустил руку на трубку черного телефона.

«Надо позвонить дочери, – подумал он. – Девочка обрадуется. У нее так мало радостей».

Под стеклом большого письменного стола лежало большое фото: двое мальчишек улыбались озорно и беззаботно.

Гиммлер неожиданно ясно увидел Бормана и подумал, что этот негодяй виноват в том, что он не может сейчас позвонить дочери и сказать: «Здравствуй, крыска, это папа. Какие сны ты видела сейчас, солнце мое?» Он не может позвонить и мальчикам из-за того, что они родились не от законного брака. Гиммлер помнил, как Борман молчал, когда в сорок третьем году он попросил в долг из партийной кассы восемьдесят тысяч марок, чтобы построить Марте, матери двух своих мальчиков, небольшую виллу в Баварии, подальше от бомбежек. Он помнил, как фюрер, узнав об этом от Бормана, несколько раз недоуменно разглядывал его во время обедов в ставке. Он из-за этого не смог развестись с женой, хотя не жил в семье уже несколько лет.

«Борман здесь ни при чем, – продолжал думать Гиммлер, – я не прав. В этом моем горе толстая скотина ни при чем. Я бы пошел на все унижения, связанные с разводом. Я бы пошел на развод, хотя устав СС относится отрицательно к разрушению семьи. Но я никогда не смог бы травмировать девочку».

Гиммлер улыбнулся, вспомнив самое начало, когда было голодно и когда он жил с женой в маленькой, темной и холодной комнате в Нюрнберге. Всего восемнадцать лет тому назад. Он тогда был секретарем у Грегора Штрассера, «брата» фюрера. Он мотался по Германии, спал на вокзалах, питался хлебом и бурдой, именовавшейся кофе, налаживая связи между партийными организациями. Тогда, в 1927 году, он еще не понимал, что идея Штрассера – создать охранные отряды СС – была рождена начинавшейся борьбой против Рэма, вождя СА. Гиммлер тогда верил, что создание СС необходимо для охраны вождей партии от красных. Он тогда всерьез верил, что главная задача красных – уничтожить великого вождя, единственного друга трудящихся немцев Адольфа Гитлера. Он повесил над своим столом огромный портрет Гитлера. Когда однажды Гитлер заехал к Штрассеру и увидел под своим громадным портретом худенького молодого человека, он сказал:

– Стоит ли одного из лидеров партии так высоко поднимать над остальными национал-социалистами?

Гиммлер ответил:

– Я состою в рядах партии, у которой не лидер, а вождь!

Гитлер запомнил это.

Предлагая фюреру назначить Гиммлера рейхсфюрером вновь организовавшихся отрядов СС, Штрассер рассчитывал, что СС будут служить в первую голову ему, Штрассеру, в его борьбе против Рэма – за влияние на партию и на фюрера. Двести первых эсэсовцев объединились под его началом, всего двести. Но без СС не было бы победы фюрера в 1933 году – Гиммлер отдавал себе в этом отчет. Однако после победы фюрер назначил его всего лишь гла-

вой криминальной полиции Мюнхена. К Гиммлеру приехал Грегор Штрассер, человек, принимавший его в партию, выдвинувший идею создания отрядов СС, теоретик и идеолог партии. К тому времени Штрассер находился в оппозиции к фюреру, прямо заявляя ветеранам партии, что Гитлер продался денежным тузам тяжелой индустрии, этим кровавым капиталистам Круппу и Тиссену. «Народ пошел за нами только потому, что мы объявили священную войну денежным тузам – и еврейского, и немецкого происхождения. Гитлер вошел с ними в контакт. Он плохо кончит, Генрих, – говорил тогда Штрассер, – СС могут стать еще большей силой, и в вашей власти вернуть движение к его честному и благородному началу».

Но Гиммлер тогда оборвал Штрассера, сказав ему, что верность фюреру – долг каждого члена НСДАП.

– Вы можете вынести свои сомнения на съезд, но вы не имеете права использовать ваш авторитет в оппозиционной борьбе – это наносит ущерб священному единству партии.

Гиммлер тщательно наблюдал за тем, что происходит в центре. Он видел, что упоение победой отодвинуло – в определенной мере – практическую работу на задний план, что вожди партии в Берлине выступают на митингах, проводят ночи на дипломатических приемах, словом, пожинают сладкие плоды национальной победы. Гиммлер считал, что это все преждевременно. И он за какой-то месяц организовал в Дахау первый показательный концентрационный лагерь.

– Это хорошая школа трудового воспитания истинной германской гражданственности у тех восьми миллионов, которые голосовали за коммунистов, – говорил Гиммлер. – Нелепо сажать все эти восемь миллионов в концлагерь. Надо сначала создать атмосферу террора в одном лагере и постепенно выпускать оттуда сломавшихся. Эти отпущенники будут лучшими агитаторами практики национал-социализма. Они смогут внушить и друзьям, и детям религиозное послушание нашему режиму.

Личный представитель Геринга много часов провел в Дахау, а после спросил Гиммлера:

– Не кажется ли вам, что концлагерь вызовет резкое осуждение в Европе и Америке – хотя бы в силу того, что эта мера антиконституционна?

– Почему вы считаете арест врагов режима неконституционным?

– Потому что большинство людей, арестованных вами, не были даже в здании суда. Никакого обвинительного заключения, никакого намека на законность...

Гиммлер обещал подумать над этим вопросом. Представитель Геринга уехал, а Гиммлер написал личное письмо Гитлеру, в котором он обосновал необходимость арестов и заключения в концлагерь без суда и следствия.

«Это, – писал он фюреру, – всего лишь гуманное средство спасти врагов национал-социализма от народного гнева. Не посади мы врагов нации в концлагерь, мы не могли бы отвечать за их жизнь: народ устроил бы самосуд над ними».

В тот же день Гиммлер собрал грандиозный митинг и сказал все это там, слово в слово, и на завтра его речь была напечатана во всех газетах.

А когда в конце 1933 года в берлинской полиции, подчиненной непосредственно Герингу, разразился скандал со взяточниками, Гиммлер ночью выехал из Мюнхена и утром получил аудиенцию у фюрера. Он просил отдать «продажную, старорежимную полицию» под контроль «лучших сыновей народа» – СС.

Гитлер не хотел обижать Геринга. Он просто крепко пожал Гиммлеру руку и, проводив его до дверей кабинета, близко, изучающе заглянул в глаза и вдруг, весело улыбнувшись, заметил:

– В будущем все-таки присылайте ваши умные предложения на день пораньше: я имею в виду вашу записку мне и идентичное выступление на митинге в Мюнхене.

Гиммлер уехал расстроенным. Но спустя месяц без вызова в Берлин он был назначен шефом политической полиции Мекленбурга и Любека; еще через месяц, 20 декабря, шефом

политической полиции Бадена, 21 декабря – Гессена, 24 декабря – Бремена, 25-го – Саксонии и Тюрингии, 27-го – Гамбурга. За одну неделю он стал шефом полиции Германии, исключая Пруссию, по-прежнему подчиняющуюся Герингу.

Гитлер однажды предложил Герингу компромисс: назначить Гиммлера шефом секретной полиции всего рейха, но с подчинением его Герингу. Рейхсмаршал принял это компромиссное предложение фюрера. Он дал указание своему секретариату провести через канцелярию фюрера решение о присвоении Гиммлеру титула заместителя министра внутренних дел и шефа секретной полиции с правом участия в заседаниях кабинета, когда обсуждались вопросы полиции. Фразу «и безопасности рейха» он вычеркнул собственноручно. Это было бы слишком много для Гиммлера.

Как только Гиммлер увидел это напечатанным в газетах, он попросил сотрудников, ведавших прессой, прокомментировать свое назначение иным образом. Геринг допустил главную ошибку, пойдя на компромисс: он забыл, что никто еще не отменил главный титул Гиммлера – рейхсфюрер СС. И вот на завтра все центральные газеты вышли с комментарием: «Важная победа национал-социалистской юриспруденции – объединение в руках рейхсфюрера СС Гиммлера криминальной, политической полиции, гестапо и жандармерии. Это предупреждение всем врагам рейха: карающая рука национал-социализма занесена над каждым оппозиционером, над каждым противником – внутренним и внешним».

Он перебрался в Берлин, на шикарную виллу «Ам Донненстаг», рядом с Риббентропом. И пока продолжалось ликование по случаю победы над коммунистами, Гиммлер вместе со своим помощником Гейдрихом начал собирать досье. Досье на своего бывшего шефа Грегора Штрассера Гиммлер вел лично. Он понял, что победить в полной мере он сможет, только пролив кровь Штрассера – своего учителя и первого наставника. Поэтому он с особой тщательностью собирал по крупицам все, что могло подвести Штрассера под расстрел.

В июне 1934 года Гитлер вызвал Гиммлера для беседы по поводу предстоящих антирёмовских акций. Гиммлер ждал этого. Он понимал, что акция против Рёма только повод к уничтожению всех тех, с кем начинал Гитлер. Для тех, с кем он начинал, Адольф Гитлер был человеком, братом по партии, теперь же Адольф Гитлер должен стать для немцев вождем и богом. Ветераны партии стали для него обузой.

Гиммлер ясно понимал это, слушая, как Гитлер метал громы и молнии по адресу той «абсолютно незначительной части ветеранов», которые попали под влияние вражеской агитации. Гитлер не мог говорить всю правду никому, даже ближайшим друзьям. Гиммлер понимал и это, он помог фюреру: положил на стол досье на четыре тысячи ветеранов, практически на всех тех, с кем Гитлер начинал строить национал-социалистскую партию. Он психологически точно рассчитал, что Гитлер не забудет этой услуги: ничто так не ценится, как помощь в самооправдании злодейства.

Но Гиммлер пошел еще дальше: поняв замысел фюрера, он решил стать в такой мере ему необходимым, чтобы будущие акции подобного рода проходили только по его инициативе.

Поэтому по дороге на дачу Геринга Гиммлер разыграл спектакль: подставной агент в форме рёмовского СА выстрелил в открытую машину фюрера, и Гиммлер, закрыв вождя своим телом, закричал – первым в партии:

– Мой фюрер, как я счастлив, что могу отдать свою кровь за вашу жизнь!

До этого никто не говорил «мой фюрер». Гиммлер стал автором обращения к «богу», к «немецкому богу».

– Вы с этой минуты мой кровный брат, Генрих, – сказал Гитлер, и эти его слова слышали люди, стоявшие вокруг.

А после того как Гиммлер провел операцию по уничтожению Рёма, после того как был расстрелян его учитель Штрассер и еще четыре тысячи ветеранов партии, борзописцы немед-

ленно сочинили миф о том, что именно Гиммлер стоял рядом с фюрером с самого начала движения.

Впоследствии, дружески пожимая руки Герингу, Гессу и Геббельсу на «тафельрунде» у фюрера, куда допускались только самые близкие, Гиммлер ни на минуту не прекращал собирать досье на «своих боевых друзей».

16.2.1945 (03 часа 12 минут)

Подбросив Эрвина домой, Штирлиц ехал очень медленно, потому что он устал после каждого сеанса связи с Центром.

Дорога шла через лес. Ветер стих. Небо было чистое.

«Хотя, – продолжал рассуждать Штирлиц, – Москва права, допуская возможность переговоров. Даже если у них нет никаких конкретных данных – такой допуск возможен, поскольку он логичен. В Москве знают о той грызне, которая идет тут вокруг фюрера. Раньше эта грызня была целенаправлена: стать ближе к фюреру. Теперь возможен обратный процесс. Все они: и Геринг, и Борман, и Гиммлер, и Риббентроп – заинтересованы в том, чтобы сохранить рейх. Сепаратный мир для каждого из них – если кто-либо из них сможет его добиться – будет означать личное спасение. Каждый из них думает о себе, но никак не о судьбах Германии и немцев. В данном случае пятьдесят миллионов немцев – лишь карты в их игре за себя. Пока они держат в своих руках армию, полицию, СС, они могут повернуть рейх куда угодно, лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности...»

Острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из кустов выехали два мотоцикла СС. Они стали поперек дороги, и один из мотоциклистов направил на машину Штирлица автомат.

– Документы, – сказал мотоциклист.

Штирлиц протянул ему удостоверение и спросил:

– А в чем дело?

Мотоциклист посмотрел его удостоверение и, козырнув, ответил:

– Нас подняли по тревоге. Ищем радистов.

– Ну и как? – спросил Штирлиц, пряча удостоверение в карман. – Пока ничего?

– Ваша машина – первая.

– Хотите заглянуть в багажник? – улыбнулся Штирлиц.

Мотоциклисты засмеялись:

– Впереди две воронки, осторожнее, штандартенфюрер.

– Спасибо, – ответил Штирлиц. – Я всегда осторожен...

«Это после Эрвина, – понял он, – они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя в принципе правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии».

Он объехал воронки – они были свежие: в ветровик пахло тонким запахом гари.

«Вернемся к нашим баранам, – продолжал думать Штирлиц. – Впрочем, не такие уж они бараны, как их рисуют Кукрыниксы и Ефимов. Значит, отмычка, которую я для себя утверждаю: личная заинтересованность в мире для Риббентропа, Геринга или Бормана. После того как я отработаю высшие сферы рейха, следует самым внимательным образом присмотреться к Шпееру: человек, ведающий промышленностью Германии, не просто талантливый инженер; наверняка он серьезный политик, а этой фигурой, которая может выйти к лидерам делового мира Запада, я еще толком-то и не занимался».

Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися

сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно – часами. Поначалу ему казалось, что его тянет сюда оттого, что здесь тихо и безлюдно, и нет рядом шумных пляжей, и высокие желто-голубые сосны, и белый песок вокруг черного озера. Но потом Штирлиц нашел еще несколько таких же тихих, безлюдных мест вокруг Берлина – и дубовые перелески возле Науэна, и громадные леса возле Заксенхаузена, казавшиеся синими, особенно весной, в пору таяния снега, когда обнажалась бурая земля. Потом Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому маленькому озеру: одно лето он прожил на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны, и белый песок, и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленым. Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания, ибо – чем дальше, тем больше – он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить... Когда в двадцать втором году он ушел по заданию Дзержинского из Владивостока с остатками белой армии и поначалу работал в Китае, ему не было так трудно, потому что в Шанхае ничто не напоминало ему дом: природа там изящней, миниатюрней, она аккуратна и чересчур красива. Когда же он получил задание Центра переключиться на борьбу с нацистами, когда ему пришлось отправиться в Австралию, чтобы там в германском консульстве в Сиднее заявить о себе, о фон Штирлице, обворованном в Шанхае, он впервые испытал приступ ностальгии – в поездке на попутной машине из Сиднея в Канберру. Он ехал через громадные леса, и ему казалось, что он перенесся куда-то на Тамбовщину, но когда машина остановилась на семьдесят восьмой миле, возле бара, и он пошел побродить, пока его спутники ожидали сэндвичей и кофе, он понял, что рощи эти совсем не те, что в России, – они эвкалиптовые, с пряным, особым, очень приятным, но совсем не родным запахом. Получив новый паспорт и проработав год в Сиднее в отеле у хозяина-немца, который деньгами поддерживал нацистов, Штирлиц переехал по его просьбе в Нью-Йорк, там устроился на работу в германское консульство, вступил в члены НСДАП, там выполнил первые поручения секретной службы рейха. В Португалию его перевели уже официально – как офицера СД. Он там работал в торговой миссии до тех пор, пока не вспыхнул мятеж Франко в Испании. Тогда он появился в Бургосе в форме СД – впервые в жизни. И с тех пор жил большую часть времени в Берлине, выезжая в краткосрочные командировки: то в Загреб, то в Токио (там перед войной он в последний раз видел Зорге), то в Берн. И единственное место, куда его тянуло, где бы он ни путешествовал, было это маленькое озерцо в сосновом лесу. Это место в Германии было его Россией, здесь он чувствовал себя дома, здесь он мог лежать на траве часами и смотреть на облака. Привыкший анализировать и события, и людей, и мельчайшие душевные повороты в себе самом, он вывел, что тяга именно в этот сосновый лес изначально логична и в этой тяге нет ничего мистического, необъяснимого. Он понял это, когда однажды уехал сюда на целый день, взяв приготовленный экономкой завтрак: несколько бутербродов с колбасой и сыром, флягу с молоком и термос с кофе. Он в тот день взял спиннинг – была пора щучьего жора – и две удочки. Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа, – в таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил немного черного хлеба возле камышей, потом вернулся в лес, разложил на пледе свой завтрак – аккуратный, в целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов, и он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время весело и беспокойно. Он вспомнил такую же траву, и такой же синий лес, и руки няни – он помнил только ее пальцы, длинные и ласковые, и такой же черный хлеб, и молоко в глиняной кружке, и осу, которая ужалила его в шею, и белый песок, и воду, к которой он с ревом кинулся, и смех няни, и тонкий писк мошки в предзакатном белом небе...

Именно сюда он приезжал в страшные тридцатые, когда дома начался ужас, когда немецкими шпионами Сталин объявлял его, Штирлица, учителей, тех, кто ввел его в революцию; и

– самое страшное – они, учителя его, соглашались с этими обвинениями, хотя Штирлиц знал, как, впрочем, и все РСХА, что ни один из «паршивых большевистских евреев» не мог быть – по «закону о крови» – сотрудником Гитлера.

Он понимал, что в стране происходит нечто страшное, неподвластное логике – так вульгарно были состряпаны московские процессы, и, самое ужасное, судя по сводкам, приходившим в СД, народ России истово приветствовал убийства тех, кто окружал Ленина еще задолго до Октября.

Он отметил для себя и то, что Гитлер запросил в СД все данные на Сталина, которые можно было собрать в берлинских архивах: в начале девятисотых русский лидер жил в германской столице – после известной экспроприации в Тифлисе, участником которой он был.

Три объемистые папки о Сталине были отправлены непосредственно Гитлеру, минуя канцелярии Гесса и Гиммлера; никто этих документов больше не видел, но – что более всего насторожило Штирлица – именно после этого начался активный диалог между личным представителем фюрера при министерстве иностранных дел рейха с молодым блестяще эрудированным грузином, сидевшим в торгпредстве Союза.

Именно здесь он провел весь день, когда Сталин подписал договор о дружбе с Гитлером, – смятый, раздавленный, лишенный силы думать, ибо некая врожденная константа запрета на однозначный ответ опускалась на него гранитной, холодной плитой...

«Зачем я остановился? – подумал Штирлиц, медленно прохаживаясь по темному шоссе. – А, я хотел отдохнуть... Вот я и отдохнул. Не забыть бы завтра, когда поеду к Эрвину за ответом от Алекса, взять консервированное молоко. Наверняка я забуду. Надо сегодня же положить молоко в машину, и обязательно на переднее сиденье».

Информация к размышлению (Гиммлер)

Гиммлер поднялся с кресла, отошел к окну: зимний лес был поразительно красив – снежные лапы искрились под лунным светом, тишина лежала над миром.

Гиммлер вдруг вспомнил, как он начал операцию против самого близкого фюреру человека – против Гесса. Правда, какую-то минуту Гиммлер тогда был на волоске от гибели: Гитлер был человек парадоксальных решений. Гиммлер получил от своих людей кино пленку, на которой был заснят Гесс в туалете – он занимался онанизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой к Гитлеру и прокрутил ее на экране. Фюрер рассвирепел. Была ночь, но он приказал вызвать к себе Геринга и Геббельса, а Гесса пригласить в приемную. Геринг приехал первым – очень бледный. Гиммлер знал, почему так испуган рейхсмаршал: у него проходил бурный роман с венской балеринкой. Гитлер попросил своих друзей посмотреть «эту гнусность Гесса». Геринг хохотал. Гитлер накричал на него:

– Нельзя же быть бессердечным человеком!

Он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал:

– Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь ононом!

И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении второго человека партии.

– Да, – ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно. – Да, мой фюрер! Я не стану скрывать этого! Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами? – Он не взглянул на Геббельса, но тот вжался в кресло (назревал скандал с его любовницей – чешской актрисой Бааровой). – Почему я не езжу на ночь в Вену, на представления балета? Потому что я живу только одним: партией! А партия и ты, Адольф, для меня одно и то же! У меня нет времени на личную жизнь! Я живу один!

Гитлер обмяк, подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. Гиммлер затаился: он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал:

– Гиммлер, подберите ему жену. Я понимаю этого прелестного и верного движению человека. Покажите мне фотографии кандидаток: он примет мою рекомендацию.

Гиммлер понял: сейчас все может решить мгновение. Дождавшись, когда Геринг и Геббельс разъехались по домам, Гиммлер сказал:

– Мой фюрер, вы спасли национал-социализму его верного борца. Мы все ценим подвижничество Гесса. Никто не смог бы так мудро решить его судьбу. Поэтому позвольте мне сейчас, не медля, привезти вам еще некоторые материалы! Вашим солдатам надо помочь так же, как вы помогли Гессу.

И он привез Гитлеру досье на вождя трудового фронта Лея. Тот был алкоголиком, его пьяные скандалы не были секретом ни для кого, кроме Гитлера. Гиммлер выложил досье на «бабельсбергского бычка» – Геббельса; его шальные связи с женщинами отнюдь не чистых кровей шокировали истинных национал-социалистов. Лег на стол Гитлеру в ту ночь и компрометирующий материал на Бормана – подозрение в гомосексуализме.

– Нет, нет, – заступился Гитлер за Бормана, – у него много детей. Это сплетня.

Гиммлер не стал разубеждать Гитлера, но он заметил, с каким обостренным любопытством фюрер листал материалы, как он по несколько раз прочитывал донесения агентов, и Гиммлер понял, что он выиграл фюрера – окончательно.

Десятилетний юбилей Гиммлера как вождя СС Гитлер приказал отметить по всей Германии. С этого дня все гауляйтеры – партийные вожди провинций – поняли, что Гиммлер – единственный человек после Гитлера, обладающий полнотой власти. Все местные организации партии начали посылать основную информацию в два адреса: и в штаб партии, к Гессу,

и в канцелярию Гиммлера. Материалы, поступавшие Гиммлеру от особо доверенной группы агентов, не проходили через отделы, а сразу оседали в его личных бронированных архивах: это были компрометирующие данные на вождей партии. А в 1942 году Гиммлер положил в свой сейф первые компрометирующие документы на фюрера.

В сорок третьем году, после Сталинграда, он решился показать эти документы одному из своих ближайших друзей – доктору Керстену, лучшему врачу и массажисту рейха. Он тогда запер дверь и достал из сейфа копию истории болезни фюрера. Керстен от неожиданности опустился на диван – из врачебного дела можно было сделать вывод: фюрер перенес сифилис.

– У него прогрессивный паралич в первой стадии... Он уже ненормален психически...

– Может быть, вы согласитесь лечить его? – спросил Гиммлер.

– Фюрер слишком опасно болен, чтобы менять врачей. Кто захочет его гибели – тот сменит его врачей...

Вот именно тогда Гиммлер дал молчаливое согласие начальнику своей политической разведки бригаденфюреру СС Вальтеру Шелленбергу прощупать западных союзников – в какой мере они готовы заключить почетный мир с Германией. Он следил за тем, как патриоты из генеральской оппозиции вели свою игру с Алленом Даллесом, представителем американской разведки в Берне. Он особенно долго сидел над сообщением: «Представители ОСС² с охотой склонялись к переговорам и к миру с рейхом из-за страха перед большевизмом, но имели опасения в отношении неустойчивого гения фюрера, которого они считали не заслуживающим доверия партнером по переговорам. Они ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверия лиц, таких, как рейхсфюрер СС...»

«Я был жалким трусом, – продолжал думать Гиммлер, по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. – 20 июля 1944 года, через пять часов после покушения на Гитлера, я мог бы стать фюрером Германии. У меня была возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос. У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берн к Даллесу с предложением мира. Фюрера, Геббельса и Бормана расстрелять – как тогда, в тридцать четвертом, Штрассера. Пусть бы они тоже метались по комнате, и падали на пол, и молили о пощаде... Хотя нет... Гитлер бы никогда не молил. Впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир... А я проявил малодушие, я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера, я оказался тряпкой... Во мне победили сантименты...»

Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично из этого июльского проигрыша. Подавил путч в Берлине Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу, лишь оглушенный партийной фразеологией, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного возвеличения роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу, – говорил он Геббельсу, – что ни одно другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего, имеющего героев СС».

В печати и по радио началась кампания, посвященная «подвигу СС». Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру. И какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем: особенно в день 9 ноября, когда фюрер, впервые в истории рейха, поручил ему, именно ему, рейхсфюреру СС, произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене.

Он и сейчас помнил – обостренно, жутковато – то сладостное ощущение, когда он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но – ниже, там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они аплодировали ему, и по его знаку вски-

² Американская разведка.

дывали руку в партийном приветствии, и, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно подхватывал весь зал. Пускай они ненавидели его, считали недостойным этой великой роли, пускай, но этика национал-социализма обязывала их перед лицом двух тысяч съехавшихся сюда гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему – Гиммлеру.

Борман... Ах как он ненавидел Бормана! Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел победить его. Он знал фюрера, как никто другой, знал, что если Гитлер любит человека и верит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого. Поэтому Борман посоветовал фюреру:

– Надежды на армию сугубо сомнительны. Великое счастье нации, что у нас есть дивизия СС – надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армий «Висла». Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их.

Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение и к нему, рейхсфюреру СС. Он приготовил смертельный удар Борману. И даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он все понял спустя минуту после того, как фюрер подписал бумагу.

– Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армий «Висла». Никто, кроме вас, не сможет разгромить большевистские полчища. Никто, кроме вас, не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира!

Это был крах. Шел январь 1945 года, никаких надежд на победу не было. К черту эти сентиментальные иллюзии! Ставка одна: немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ.

Гиммлер поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в ставку. Потом он был у Геринга: разговор не получился.

Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии фельдмаршал Кессельринг не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщившие об этом, были уничтожены; им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Кессельрингу. Из Италии – прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Аллен Даллес. Это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей, тем более что друг Кессельринга – вождь СС в Италии генерал Карл Вольф – верный Гиммлеру человек.

Гиммлер снял трубку телефона и сказал:

– Пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа.

Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему. Вольф начнет переговоры с Западом – от его, Гиммлера, имени.

Расстановка сил

Штирлиц и не думал завязывать никакой комбинации со Шлагом, когда пастора привели на первый допрос: он выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с ним три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью.

Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, он все чаще задумывался над тем, как мог бы пастор быть в будущем полезен для его дела.

Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью – а в этом он уверился, прослушав разговор с провокатором Клаусом, – Штирлиц отводил в своей будущей работе роль и для Шлага. Он только не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать.

Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события – в деталях. Часто он вспоминал эпизод – он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, отправляясь в Анкару, – эпизод врезался в память на всю жизнь. Однажды, писал дошлый литературовед, Пушкина спросили, что будет с прелестной Татьяной. «Спросите об этом у нее, я не знаю», – раздраженно ответил Пушкин. Штирлиц беседовал с математиками и физиками, особенно после того, как гестапо арестовало физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. «Это невозможно, – отвечали ему. – Мы лишь определяем направление поиска, все остальное – в процессе эксперимента».

В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала: нарушение хотя бы одной заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. Увидеть возможности, нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку, – так, считал Штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием.

«Итак, пастор, – сказал себе Штирлиц. – Займемся пастором. Он теперь, после того как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связей пастора с экс-канцлером Брюнингом и Виртом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику интерес. Зато мой интерес к нему вырос – после приказа Центра».

16.2.1945 (04 часа 45 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер – приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Спортсмен, отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС...»)

Мюллер вызвал оберштурмбаннфюрера Айсмана поздно ночью: он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим.

«Действительно, этот коньяк какой-то особый, – думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. – От нашего трещит голова, а этот здорово облегчает. Затылок потрескивает – от давления, не иначе, это в порядке вещей...»

Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей, детской улыбкой.

– У меня тоже раскалывается череп, – сказал он, – мечтаю о семи часах сна как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей – самая страшная пытка.

– Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая – «чефир». Он и пьянит и бодрит. Не попробовать ли нам? – Мюллер неожиданно засмеялся: – Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию?

Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно и так же разговаривал.

– Слушайте, – продолжал он, – тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы... Им можно фантазировать – у них нет конкретной работы, а давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке... Понимаете, у него вырос огромный зуб на Штирлица...

– На кого?!

– Да, да, на Штирлица. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд, спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на партийных собраниях... А он молчун. Я люблю молчунов... Если друг – молчун – это друг. Ну а уж если враг – так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться...

– Я знаю Штирлица восемь лет, – сказал Айсман, – я был с ним под Белградом и видел его под бомбами: он высечен из кремня и стали.

Мюллер поморщился:

– Что это вас на метафоры потянуло? С усталости? Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить существительными и глаголами: «он встретился», «она сказала», «он передал»... Вы что, не допускаете мысли...

– Нет, – ответил Айсман. – Я не могу поверить в нечестность Штирлица.

– Я тоже.

– Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера.

– Зачем? – после паузы спросил Мюллер. – А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы. Он из шестого управления. Пусть Шелленберг попляшет...

– Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит рейхсфюрер.

– Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью?

– Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать... Простите эту мою слабость... Я считаю нечестным скрывать это.

– А я плавать не умею, воды боюсь, – усмехнулся Мюллер.

Он снова начал массировать затылок большим и указательным пальцами правой руки.

– Ну а что нам делать со Штирлицем?

Айсман пожал плечами:

– Лично я считаю, что следует быть до конца честным перед самим собой – это определит все последующие действия и поступки.

– Действия и поступки – одно и то же, – заметил Мюллер. – Как же я завидую тем, кто выполняет приказ, и только! Как бы я хотел только выполнять приказы! «Быть честным»! Можно подумать, что я то и дело думаю, как бы мне быть нечестным. Пожалуйста, я предоставляю вам полную возможность быть честным: берите эти материалы. – Мюллер подвинул Айсману несколько папок с машинописным текстом. – И сделайте свое заключение. До конца честное. Я обопрюсь на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции.

– Почему именно я должен делать это, обергруппен-фюрер? – спросил Айсман.

Мюллер засмеялся:

– А где же ваша честность, друг мой?! Где она? Всегда легко советовать другим – будь честным. А каждый поодиночке думает, как бы свою нечестность вывернуть честностью... Как бы оправдать себя и свои действия. Разве я не прав?

– Я готов написать рапорт.

– Какой?

– Я напишу в рапорте, что знаю Штирлица много лет и могу дать за него любые ручательства.

Мюллер помолчал, поерзал в кресле, а потом подвинул Айсману листок бумаги.

– Пишите, – сказал он.

Айсман достал ручку, долго обдумывал первую фразу, а потом написал своим каллиграфическим почерком: «Начальнику IV управления обергруппенфюреру СС Мюллеру. Считая штандартенфюрера СС фон Штирлица истинным арийцем, преданным идеям фюрера и НСДАП, прошу разрешить мне не заниматься инспекцией по его делам. Оберштурмбаннфюрер СС Айсман».

Мюллер промокнул бумагу, дважды перечитал ее и сказал негромко:

– Ну что ж... Молодец... Я всегда относился к вам с уважением и полным доверием. Сейчас я имел возможность убедиться еще раз в вашей высокой порядочности, Айсман.

– Благодарю вас.

– Меня вам нечего благодарить. Это я благодарю вас. Ладно. Вот вам эти три папки: составьте по ним благоприятный отзыв о работе Штирлица – не мне вас учить: искусство разведчика, тонкость исследователя, мужество истинного национал-социалиста. Сколько вам на это потребуется времени?

Айсман пролистал дела и ответил:

– Чтобы все это было красиво оформлено и документально подтверждено, я просил бы вас дать мне неделю.

– Пять дней – от силы.

– Хорошо.

– И постарайтесь особо красиво показать Штирлица в его работе с этим пастором, – Мюллер ткнул пальцем в одну из папок. – Кальтенбруннер считает, что через священников сейчас кое-кто пытается установить связи с Западом: Ватикан и так далее...

– Хорошо.

– Ну, счастливо вам. Валяйте-ка домой и спите.

Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и долго сидел задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштурмбаннфюрера Холтоффа.

– Послушайте, – сказал он, не предложив ему даже сесть: Холтофф был из молодых. – Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности.

– Слушаю, обергруппенфюрер...

«Этот будет рыть землю, – подумал Мюллер. – Этому наши игры еще нравятся, он еще пока в них купается. Этот нагородит черт те что... И хорошо... Будет чем торговаться с Шелленбергом».

– Вот что, – продолжал Мюллер. – Вам надлежит изучить эти дела: здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия... то есть к атомному оружию... К физику Рунге... В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать... Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы.

Когда Холтофф, несколько обескураженный, но старавшийся эту свою обескураженность скрыть, уходил из кабинета шефа гестапо, Мюллер остановил его и добавил:

– Поднимите еще несколько его ранних дел, на фронте, и посмотрите, не пересекались ли пути у Штирлица и Айсмана.

Информация к размышлению (Даллес)

И гестапо, и абвер, и контрразведка Виши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком.

На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на американца.

Они не смогли поймать этого человека. Он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши и чудом пробрался в конце 1942 года в нейтральную Швейцарию.

Человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен, часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить и, если он был не прав, признать свою неправоту сразу же и открыто.

Вероятно, служба Гимmlера, Канариса и Петена, узнай, кто был этот человек, приложила бы в десять раз больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 года, положив конец «суверенной» Франции со столицей в Виши. Этот человек был Аллен Даллес, направленный в Берн генералом Донованом.

В Швейцарии о нем скоро стали говорить как о личном представителе президента Рузвельта.

Даллес опубликовал опровержение в прессе. Оно было странным и таинственным. Он понял, что эта двойная реклама – слух и странное опровержение – в данном случае пойдет ему на пользу. И не ошибся: с первых же месяцев пребывания в Берне к нему со всех сторон потянулись разные люди из разных стран – банкиры, спортсмены, дипломаты, журналисты, принцы крови, актеры, то есть все те люди, из которых разведки мира черпают свою агентуру, причем наиболее серьезную.

Перед тем как развернуть свой филиал управления стратегических служб в Швейцарии, Даллес самым тщательным образом изучил материалы, собранные на его сотрудников.

– Здесь, в синей папке, – пояснил ему человек из ФБР, занимавшийся проверкой и систематизацией досье на его сотрудников, – все те, у кого есть родственники и близкие друзья в странах оси и в нейтральных странах. В этой папке – лица, рожденные в Германии и Европе, а также те, у кого родители – немцы. Здесь – фамилии тех, с кем переписываются ваши сотрудники... А вот тут...

Даллес перебил его недоуменным вопросом:

– Какое все это имеет отношение к делу?

– Простите...

– Меня интересует следующее: являлся ли кто-нибудь из людей, сотрудничающих со мной, активистом германо-американского института или нет? Является ли он членом компартии? Не гомосексуалист ли он? И не лесбиянка ли она? Как семья? Устойчив ли брак, или жена истеричка, а муж в силу этого тяготеет к алкоголизму и мечтает послать к чертовой матери скандальный семейный очаг? А что касается родственников в Германии или Италии, то кто-то из моих дальних родичей осел в Германии еще в прошлом веке.

К сожалению, в справочниках «Who is who» было мало сказано о том, кем был этот человек в прошлом. Его история заслуживает того, чтобы службы контрразведки Германии знали ее заранее. Они узнали ее значительно позже.

Когда ведомство Гиммлера смогло внедрить в дом Даллеса своего агента (милая, исполнительная кухарка, работавшая у Аллена Даллеса, была сотрудником VI управления службы имперской безопасности), и Шелленберг, и Гиммлер, и Мюллер из гестапо, и впоследствии Кальтенбруннер узнали от своего агента много важного и интересного, того выпуклого и объемного, что складывается обычно из, казалось бы, незначительных мелочей.

Этот агент, например, сообщал, что настольной и, по-видимому, самой любимой книгой Аллена Даллеса является книга китайца Сун Цзы «Искусство войны». В этой книге китайский теоретик излагал основы шпионажа. Он излагал те основы шпионажа, которые практиковались в Китае в 400 году до Рождества Христова.

Особенно часто Аллен Даллес возвращался к той части сочинения китайского автора, где тот писал, какие агенты наиболее ценны в разведке.

Сун Цзы выделял пять видов агентов: туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые.

Туземные и внутренние агенты (Даллес это выписывал на маленькие листочки бумаги, и эти листочки бумаги также попали в ведомство Шелленберга) соответствуют, писал Даллес, тому, что мы сейчас называем агентами на местах.

Двойной агент – это вражеский разведчик, захваченный в плен, впоследствии перевербованный и посланный обратно к своим, но уже в качестве агента той страны, которая его захватила.

Аллен Даллес подчеркнул красным карандашом термин «невозвратимый агент». Ему очень понравилась эта китайская изысканность. Сун Цзы невозвратимыми агентами называл таких, через которых противнику поставлялась дезинформация. Сун Цзы называл их невозвратимыми потому, что противник, по всей видимости, должен убить их, когда обнаружит, что информация, представлявшаяся ими, была ложной.

Живые агенты, по выражению Сун Цзы, подчеркивал Даллес в своих заметках, стали называться в наши дни проникающими агентами. Они идут в страну врага, работают там и потом возвращаются обратно живыми.

Сун Цзы утверждал, что настоящий разведчик обязан иметь все пять видов этих агентов одновременно. Он говорил, что тот разведчик, который имеет пять таких агентов, обладает «божественной паутиной», некоей рыболовной сетью, состоящей из множества тонких, невидимых, но очень крепких нитей, скрепленных одной общей веревкой.

Сун Цзы мыслил интересно, и многое из Сун Цзы Даллес выписывал на отдельные листочки бумаги – о контрразведке, о дезинформации, о психологической войне, о тактике безопасности для агентов.

Шпионаж Сун Цзы был вызовом шпионажу Древней Греции и Древнего Рима. Там во многом полагались на указания духов и богов. В разведке же, считал Сун Цзы, нельзя полагаться на духа и Бога. В разведке нужно полагаться только на человека: на врага и друга.

Агент гестапо смогла сфотографировать Библию с громадным количеством пометок на полях, сделанных американским разведчиком. В ней было отмечено то место, когда Иисус Навин послал двух человек в Иерихон, чтобы они там тайно все высмотрели. И пришли они в дом блудницы Рааб. Это, как казалось Даллесу и как он говорил об этом друзьям, был первый пример, записанный в исторических летописях, того, что сейчас называется у профессиональных разведчиков явкой укрытия. Рааб скрыла шпионов у себя в доме, а потом вывела их из города, и израильтяне, захватив Иерихон, истребили мечом всех, оставив в живых одну только Рааб и ее семью. Именно тогда установлена была традиция вознаграждать тех, кто помогал разведке.

Одной из любимых книг Аллена Даллеса, как доносила в свой центр агент из его дома, была книга Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Также очень часто он возвращался к «Молль Флендерс» и к «Дневнику чумного года». Эти книги писал Даниель Дефо, один из великолеп-

нейших разведчиков. Он был не только самостоятельным организатором крупной разведывательной сети, но он стал первым шефом английской разведки, о чем мир узнал спустя много лет после его смерти.

Даллес искал на страницах его книг хоть какого-нибудь самого отдаленного упоминания о том, что это писал шеф разведки Британской империи. Он не нашел ни одного намека на это.

Также, доносила агент Шелленберга, Аллен Даллес в свободное время внимательно изучал практику и методы крупнейших шпионских организаций XIX века в Европе.

Много и других данных об Аллене Даллесе скопилось в бронированных архивах ведомства Гиммлера. Однако стройной и точной биографии этого талантливейшего разведчика середины XX века руководителям Третьего рейха выстроить так и не удалось.

Биография Даллеса была не очень приметной. Получив в двадцать три года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 1916 года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Потом он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить Австро-Венгерскую империю. Там в 1918 году он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Даллес довел его до конца. Однако ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, встала на пути претворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронированным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах.

Через год, в 1910-м, Даллес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на Вильгельмплац, 7, Аллен Даллес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь Аллен Даллес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль.

Гофман говорил им тогда: «За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном. Я сожалею, что во времена Брест-Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время».

Именно тогда и именно Гофман в разговоре с Даллесом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина «дранг нах остен».

После Берлина Аллен Даллес два года служил в Константинополе, в столице страны, непосредственно граничившей с Советской Россией, в столице страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой – была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти.

Оттуда Аллен Даллес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока в государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток – это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках.

Именно тогда мистер Бетфорд, председатель правления компании «Стандард ойл оф Нью-Джерси», заявил: «Для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику».

И Даллес работал не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила 25 процентов акций нефтяной компании «Ирак петролеум компани».

В том же году нефтяная корпорация «Галф ойл» из группы Меллона приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов.

Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов натолкнуло его на мысль о том, что служба в государственном департаменте – лишь первая ступень в его будущей серьезной карьере.

Аллен Даллес получил место в юридической фирме «Салливен энд Кромвелл». Фирма, одна из крупнейших на Уолл-стрит. Фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма «Салливен энд Кромвелл» работала с правительством Панама во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Аллен Даллес провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия.

Именно тогда фирма «Салливен энд Кромвелл» завязала самые тесные отношения с Германией, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали доллары.

Именно тогда Аллен и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с трестом Тиссена «И.Г. Фарбениндустри» и с концерном «Роберт Бош». Аллен и Джон Даллесы стали американскими агентами этих немецких корпораций.

В дальнейшем Аллен Даллес стал не только совладельцем фирмы «Салливен энд Кромвелл», он занял пост директора «Шредер трест компани» и одновременно директора «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн».

Кем же был Шредер?

Он был немецким гражданином в Германии, американским – в Соединенных Штатах, английским – в Великобритании. В тридцатых годах этот концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 7 января 1933 года на вилле Шредера в Кельне Гитлер встретился с фон Папеном. Там он разрабатывал план захвата власти нацистами. За это Курт фон Шредер получил звание группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей». Эта организация собирала среди магнатов Рура средства для отрядов СС рейхс-фюрера Генриха Гиммлера.

Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне «англо-германское общество», то самое общество, которое выполняло функции пропаганды идей фюрера в Великобритании. Можно догадываться, чем занималась фирма «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн» в Соединенных Штатах. Директором этой фирмы был Аллен Даллес...

Именно этот человек, как никто другой знавший Европу, Германию, нацизм, бизнес, нефть, стал резидентом управления стратегических служб Соединенных Штатов в Европе.

Даллес конечно же не был личным представителем Рузвельта в Берне. История его перехода в разведку была связана, в частности, с беседой, которая состоялась между ним и одним из представителей большого бизнеса через неделю после того, как японцы напали на Пирл-Харбор.

– Вы спрашиваете о перспективе, – задумчиво говорил Даллес, попыхивая, по обыкновению, неизменной английской трубкой. – Я не готов к исчерпывающему ответу. Чтобы наметить свою перспективу, надо изучать финансы и анекдоты, бытующие в стране, новые постановки в театрах и отчеты о партайтагах в Нюрнберге. Одно для меня очевидно: Германия не будет безмолвствовать – я имею в виду Германию серьезных финансистов типа уволенного в отставку Шахта, и литераторов, вынужденных заниматься переводами с латыни.

– Шахт – это серьезно, а литераторы...

– Это тоже серьезно, – возразил Даллес, – даже серьезнее, чем вы думаете. Гиммлер еще в тридцать четвертом году совершил первую крупную ошибку: он бросил в концлагерь лауреата Нобелевской премии фон Осецкого³. Он создал образ мученика. А этого самого мученика, вместо того чтобы сажать в концлагерь, надо было купить: славой, деньгами, женщинами...

³ Осецкий Карл (1889–1938) – немецкий прогрессивный журналист и публицист.

Никто так не продажен, как актер, писатель, художник. Их надо умело покупать, ибо покупка – это лучший вид компрометации.

– Ну, это нас не интересует, это – частности...

– Это не частности, – упрямо возразил Даллес, – это отнюдь не частности. Гитлер воспитал пятьдесят миллионов в полном повиновении. Его театр, кино и живопись воспитывают слепых автоматов. А это нас не может устроить: автомату чуждо желание торговать, общаться, задумывать выгодную операцию в сфере бизнеса. Слепым автоматам не нужен Шахт. Но Шахт нужен нам. Так что, – закончил Даллес, – здесь все очень и очень взаимосвязано... И эта взаимосвязанность неминуемо приведет к интеллигентам в армии... А интеллигенты в армии – это люди в чине от майора и до фельдмаршала, не ниже. Ниже – автоматы, исполняющие любой приказ слепо и бездумно...

– А вот эта версия уже интересна, – сказал собеседник Аллена Даллеса. – Она интересна, ибо перспективна. А вы говорили, что не можете ответить на мой вопрос...

17.2.1945 (10 часов 03 минуты)

Когда обергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера, рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Не страх владел им сейчас, нет. Так, во всяком случае, ему казалось. Просто в первый раз в жизни он стал отступником. Он знал отступников, он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле сорок четвертого, но сейчас он сам вершил акт государственного предательства: за переговоры с врагом полагалось только одно наказание – смерть.

Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Даллесом – высший офицер СС с высшим разведчиком союзников.

Гиммлер по обычной своей манере снял очки – сегодня он был в очках без оправы, такие носят учителя в школе – и медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось, а после улыбнулся. «Я начал двигаться, – понял он. – Самое страшное – это мучительная оцепенелость, это сродни ночному кошмару».

Он вызвал Шелленберга. Шеф политической разведки пришел к Гиммлеру через минуту – казалось, он сидел в приемной, а не у себя, на третьем этаже.

– Вольф улетает для контакта с Даллесом, – сказал Гиммлер и хрустнул пальцами.

– Это мудро...

– Это безумие, Шелленберг, это безумие и авантюризм.

– Вы имеете в виду возможный провал?

– Я имею в виду целый комплекс проблем! Это вы, это все ваша работа! Вы меня подвели к этому шагу!

– Если Вольф провалится, то все материалы придут к нам.

– Они могут попасть сначала к венцу...

Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил:

– К Кальтенбруннеру. И я не знаю, куда эти материалы отправятся потом: к Борману или ко мне. А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода. И вы можете представить, как прореагирует фюрер, когда он все увидит, да еще с пояснениями Бормана.

– Я анализировал и эту возможность.

Гиммлер досадливо поморщился. Ему сейчас хотелось одного – вернуть Вольфа и начисто забыть разговор с ним.

– Я анализировал эту возможность, – повторил Шелленберг. – Во-первых, Вольф обязан разговаривать с Даллесом не от своего имени и тем более не от вашего, но от имени фельдмар-

шала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Он заместитель командующего в Италии, он вне вашего прямого подчинения...

Фельдмаршал Кессельринг был в свое время помощником Геринга по люфтваффе. Его все считали человеком Геринга.

– Это хорошо, – сказал Гиммлер. – Вы это придумали заранее или вам сейчас пришло в голову?

– Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа, – ответил Шелленберг. – Вы позволите мне закурить?

– Да, пожалуйста, – ответил Гиммлер.

Шелленберг закурил: с тридцать шестого года он курил только «Кэмэл» и никаких других сигарет не признавал. Однажды в сорок втором, после того как Америка вступила в войну, его спросили: «Откуда у вас вражеские сигареты?» Шелленберг ответил: «Воистину, куришь американские сигареты – скажут, что продал родину...»

– Я продумал все возможности, – продолжал он, – даже самые неприятные.

– То есть? – насторожился Гиммлер. Он успокоился, он пришел в себя, появилась разумная перспектива, что ж еще может быть неприятного, если все так складно выстраивается?

– А что, если Кессельринг, а еще хуже – его покровитель Геринг смогут доказать свое алиби?

– Мы не допустим этого. Озаботьтесь этим заранее.

– Мы – да, но Кальтенбруннер и Мюллер?

– Хорошо, хорошо, – устало сказал Гиммлер, – ну а что вы предлагаете?

– Я предлагаю бить одним патроном двух вальдшнепов.

– Так не бывает, – ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом, – впрочем, я не охотник...

– Фюрер говорит, что союзники находятся на грани разрыва, не так ли? Следовательно, разрыв между ними – одна из наших главных задач? Как поступит Сталин, узнай он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками? Я не берусь судить, как именно он поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на минуту. Следовательно, поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, – это на благо фюрера. Наша легенда: переговоры – это блеф для Сталина! Так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала.

Гиммлер поднялся со стула – он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле, – отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Из школы шли ребята и весело смеялись. Две женщины катили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал: «Я бы с радостью уехал в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой...»

– Я подумаю над тем, что вы сказали, – не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шелленберг ее с радостью отдал бы рейхсфюреру – он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы. – Вас будут интересовать детали, или мелочи додумать мне самому? – спросил Шелленберг.

– Додумайте сами, – ответил Гиммлер, но, когда Шелленберг пошел к двери, он обернулся: – Собственно, в этом деле не должно быть мелочей. Что вы имеете в виду?

– Во-первых, операция прикрытия... То есть надо будет подставить чью-то фигуру, чужую, не нашу, для переговоров с Западом... А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности... Это будет победа нашей службы разведки: сорвали коварные замыслы врагов – так, по-моему, вещает Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще пять-шесть моих людей. Вольф не будет знать о наших людях – они будут гнать информацию непосредственно мне. Это, в довершение ко всему, третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье.

– В ваше, – поправил его Гиммлер, – в ваше досье. «Я снова испугал его, – подумал Шелленберг, – эти детали его пугают. У него надо брать только согласие, а дальше все делать самому».

– Кого вы хотите туда отправить?

– У меня есть хорошие кандидатуры, – ответил Шелленберг, – но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел.

В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц с его «подопечным» пастором.

17.2.1945 (10 часов 05 минут)

Утром, когда Эрвин должен был принять ответ из Центра, Штирлиц медленно ехал по улицам к его дому. На заднем сиденье лежал громоздкий проигрыватель: Эрвин по легенде был владельцем маленькой фирмы проигрывателей, это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов.

На улице был затор: впереди расчищали завал. Во время ночной бомбежки обрушилась стена шестизэтажного дома, и рабочие дорожных отрядов вместе с полицейскими быстро и споро организовали проезд транспорту.

Штирлиц обернулся: за его «хорьхом» уже стояло машин тридцать, не меньше. Молоденький паренек, шофер грузовика, крикнул Штирлицу:

– Если сейчас прилетят, вот катавасия начнется – и спрятаться некуда.

– Не налетят, – ответил Штирлиц, глянув на небо. Облака были низкие, судя по серо-черным окраинам – снеговые.

«Ночью было тепло, – подумал Штирлиц, – а сейчас похолодало – явно это к снегу».

Он отчего-то вспомнил давешнего астронома. «...Год беспокойного солнца. Все взаимосвязано на шарике. Мы все взаимосвязаны, шарик связан со светилом, светило – с галактикой. – Штирлиц вдруг усмехнулся. – Похоже на агентурную сеть гестапо...»

Шуцман, стоявший впереди, резко взмахнул рукой и гортанно крикнул:

– Проезжать!

«Нигде в мире, – отметил для себя Штирлиц, – полицейские не любят так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас». Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии как о своей нации и о своей стране. «А иначе мне нельзя. Если бы я отделял себя, то наверняка уже давным-давно провалился. Парадокс, видимо: я люблю этот народ и люблю эту страну.

Дальше дорога была открытой, и Штирлиц дал полный газ. Он знал, что крутые повороты сильно «едят» резину, он знал, что покрышки сейчас стали дефицитом, но все равно он очень любил крутые виражи, так, чтобы резина пицала и пела, а машина резко при этом кренилась, словно лодка во время шторма.

В Кепенике у поворота к дому Эрвина и Кэт стояло второе полицейское оцепление.

– Что там? – спросил Штирлиц.

– Разбита улица, – ответил молоденький бледный шуцман, – они бросили какую-то мощную торпеду.

Штирлиц почувствовал, как на лбу у него выступил пот.

«Точно, – вдруг понял он, – их дом тоже».

– Дом девять? – спросил он. – Тоже?

– Да, разбили совершенно.

Штирлиц отогнал машину к тротуару и пошел по переулку направо. Дорогу ему преградил все тот же болезненный шуцман:

– Запрещено.

Штирлиц отвернул лацкан пиджака: там был жетон СД. Шуцман козырнул ему и сказал: – Саперы опасаются, нет ли здесь бомб замедленного действия...

– Значит, взлетим вместе, – ответил Штирлиц и пошел к руинам дома номер девять.

Он ощущал огромную, нечеловеческую усталость, но он знал, что идти он обязан своим обычным пружинистым шагом, и он так и шел – пружинисто, и на лице его была его обязательная, скептическая ухмылка. А перед глазами стояла Кэт. Живот у нее был очень большой, округлый. «К девочке, – сказала она ему как-то. – Когда живот торчит огурцом – это к мальчику, а я обязательно рожу девицу».

– Все погибли? – спросил Штирлиц полицейского, который по-прежнему наблюдал за тем, как работали пожарные.

– Трудно сказать. Попало под утро, было много санитарных машин...

– Много вещей осталось?

– Не очень... Видите, какая каша...

Штирлиц помог плачущей женщине с ребенком оттащить от тротуара коляску и вернулся к машине.

17.2.1945 (10 часов 05 минут)

– Мамочка! – кричала Кэт. – Господи! Мама-а-а-а! Помогите кто-нибудь!

Она лежала на столе. Ее привезли в родильный дом контуженной: в двух местах была пробита голова. Она и кричала-то какие-то бессвязные слова: жалобные, русские.

Доктор, принявший мальчика – горластого, сиплого, большого, сказал акушерке:

– Полька, а какого великана родила...

– Она не полька, – сказала акушерка.

– А кто? Русская? Или чешка?

– Она по паспорту немка, – ответила акушерка. – У нее в пальто был паспорт на имя немки Кэтрин Кин.

– Может быть, чужое пальто?

– Может быть, – согласилась акушерка. – Смотрите, какой роскошный карапуз – не меньше четырех килограммов. Просто красавец... Вы позвоните в гестапо, или попозже позвоню я?

– Позвоните вы, – ответил доктор, – только попозже.

«Все, – устало, как-то со стороны думал Штирлиц, – теперь я совсем один. Теперь я попросту совершенно один...»

Он долго сидел у себя в кабинете запершись и не отвечал на телефонные звонки. Автоматически он подсчитал, что звонков было девять. Два человека звонили к нему подолгу, видимо, было что-то важное, или звонили подчиненные – они всегда звонят подолгу. Остальные были короткими: так звонит либо начальство, либо друзья.

Потом он достал из стола листок бумага и начал писать:

«Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.

Строго секретно. Лично.

Рейхсфюрер!

Интересы нации заставляют меня обратиться к Вам с этим письмом. Мне стало известно из надежных источников, что за Вашей спиной группа каких-то лиц из СД налаживает контакты с врагом, зондируя почву для сделки с противником. Я не могу строго документально

подтвердить эти сведения, но прошу Вас принять меня и выслушать мои предложения по этому вопросу, представляющемуся мне крайне важным и не терпящим отлагательств. Прошу Вас разрешить мне, используя мои связи, информировать Вас более подробно и предложить свой план разработки этой версии, которая кажется мне, увы, слишком близкой к правде.

Хайль Гитлер!

Штандартенфюрер СС фон Штирлиц».

Он знал, на кого ссылаться в разговоре: три дня назад во время налета погиб кинохроникер из Португалии Луиш Вассерман, тесно связанный со шведами.

Информация к размышлению (Шелленберг)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1934 года бригаденфюрера СС, начальника VI отдела РСХА Вальтера Шелленберга: «Истинный ариец. Характер – нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. Связей, порочающих его, не имел. Великолепный спортсмен. В работе проявил себя выдающимся организатором...»)

Пожалуй, после своего массажиста доктора Керстена Гиммлер верил, как себе, лишь одному Шелленбергу. Он следил за ним с начала тридцатых годов, когда Шелленберг еще учился. Он знал, что этот двадцатитрехлетний красавец после иезуитского колледжа закончил университет, стал бакалавром искусствоведения. Он знал также, что его любимым профессором в университете был человек еврейской национальности. Он знал, что Шелленберг поначалу вышучивал высокие идеи национал-социализма и не всегда лестно отзывался о фюрере.

Когда Шелленберга пригласили работать в разведке, он, к тому времени начавший уже разочаровываться в позиции германской интеллигенции, которая лишь скорбно комментировала злодеяния Гитлера и опасно издевалась над его истеризмом, принял предложение Гейдриха.

Его первым крещением был салон Китти. Шеф криминальной полиции Небе через свою картотеку выделил в этот светский салон самых эlegantных проституток Берлина, Мюнхена и Гамбурга. Потом по заданию Гейдриха он нашел красивых, молодых жен дипломатов и высших военных, женщин, которые были утомлены одиночеством (их мужья проводили дни и ночи в совещаниях, разъезжали по Германии, вылетали за границу). Женам было скучно, женам хотелось развлечений. Они находили эти развлечения в салоне Китти, где собирались дипломаты из Азии, Америки и Европы.

Эксперты технического ведомства безопасности СД организовали в этом салоне двойные стены и всадили туда аппаратуру подслушивания и фотографирования. Идею Гейдриха проводил в жизнь Шелленберг: он был хозяином этого салона, исполняя роль светского сводника.

Вербовка шла в двух направлениях: скомпрометированные дипломаты начинали работать в разведке у Шелленберга, а скомпрометированные жены военных, партийных и государственных деятелей Третьего рейха переходили в ведомство шефа гестапо Мюллера.

Мюллера к работе в салоне не подпускали: его крестьянская внешность и грубые шутки могли распугать посетителей. Тогда-то он впервые почувствовал себя зависимым от мальчишки.

– Он думает, что я стану хватать за ляжки его фиолетовых потаскух, – сказал Мюллер своему помощнику, – много чести. В нашей деревне таких баб называли навозными червями.

И когда фрау Гейдрих во время отъезда мужа позвонила Шелленбергу и пожаловалась на скуку и он пред дожил ей поехать за город, к воде, Мюллер немедленно узнал об этом и решил, что сейчас самое время свернуть голову этому красивенькому мальчику. Он не относился к числу тех «стариков» в гестапо, которые считали Шелленберга несерьезной фигурой – красавчик, выписывает из библиотеки книги на латыни и на испанском, одевается как прощелыга, не скрываясь, крутит романы, ходит на Принц-Альбрехтштрассе пешком, отказываясь от машины, – разве это серьезный разведчик? Болтает, смеется, пьет...

Крестьянский, неповоротливый, но быстро реагирующий на новое ум Мюллера подсказал ему, что Шелленберг – первый среди нового поколения. Любимчик притащит за собой подобных себе.

Шелленберг повез фрау Гейдрих на озеро Плойнер. Это была единственная женщина, которую он уважал, – он мог говорить с ней о высокой трагедии Эллады и о грубой чувственности Рима. Они бродили по берегу озера и говорили, перебивая друг друга. Двое мордастых парнишек из ведомства Мюллера купались в холодной воде. Шелленберг не мог предположить, что два эти идиота, единственные, кто купался в ледяной воде, могут быть агентами гестапо. Он считал, что агент не имеет права так открыто привлекать к себе внимание. Крестьянская хитрость Мюллера оказалась выше стройной логики Шелленберга. Агенты должны были сфотографировать «объекты», если они решат «полежать под кустами», по словам Мюллера. «Объекты» под кусты не ложились. Выпив кофе на открытой террасе, они вернулись в город. Однако Мюллер решил, что слепая ревность всегда страшнее зрячей. Поэтому он положил на стол Гейдрих донесение о том, что его жена и Шелленберг гуляли вдвоем в лесу и провели полдня на берегу озера Плойнер.

Прочитав это донесение, Гейдрих ничего не сказал Мюллеру. Весь день прошел в неведении. А вечером, позвонив предварительно Мюллеру, Гейдрих зашел в кабинет к Шелленбергу и хлопнул его по плечу:

– Сегодня дурное настроение, будем пить.

И они втроем до четырех часов утра мотались по маленьким грязным кабакам, садились за столики к истеричным проституткам и спекулянтам валютой, смеялись, шутили, пели вместе со всеми народные песни, а уже под утро, став белым, Гейдрих, придвинувшись близко к Шелленбергу, предложил ему выпить на брудершафт. И они выпили, и Гейдрих, накрыв ладонью рюмку Шелленберга, сказал:

– Ну вот что, я дал вам яд в вине. Если вы мне не откроете всю правду о том, как вы проводили время с фрау Гейдрих, вы умрете. Если вы скажете правду – какой бы страшной она для меня ни была, – я дам вам противоядие.

Шелленберг понял все. Он умел понимать все сразу. Он вспомнил двух молодчиков с квадратными лицами, которые купались в озере, он увидел бегающие глаза Мюллера, его чуречур улыбающийся рот и сказал:

– Ну что же, фрау Гейдрих позвонила мне. Ей было скучно, и я поехал с ней на озеро Плойнер. Я могу представить вам свидетелей, которые знают, как мы проводили время. Мы гуляли и говорили о величии Греции, которую погубили доносчики, предав ее Риму. Впрочем, ее погубило не только это. Да, я был с фрау Гейдрих, я боготворю эту женщину, жену человека, которого я считаю поистине великим. Где противоядие? – спросил он. – Где оно?

Гейдрих усмехнулся, налил в рюмку немного мартини и протянул ее Шелленбергу.

Через полгода после этого Шелленберг зашел к Гейдриху и попросил его санкции.

– Я хочу жениться, – сказал он, – но моя теща – полька.

Это было предметом для разбирательства у рейхсфюрера СС Гиммлера. Гиммлер лично рассматривал фотографии его будущей жены и тещи. Пришли специалисты из ведомства Розенберга. Проверялись микроциркулем строение черепа, величина лба, форма ушей. Гиммлер дал разрешение Шелленбергу вступить в брак.

Когда брак состоялся, Гейдрих, крепко выпив, взял Шелленберга под руку, отвел его к окну и сказал:

– Вы думаете, мне неизвестно, что сестра вашей жены вышла замуж за еврейского банкира?

Шелленберг почувствовал пустоту в себе, и руки у него заохолодели.

– Полно, – сказал Гейдрих и вдруг вздохнул.

Шелленберг тогда не понял, почему вздохнул Гейдрих. Он это понял значительно позже, узнав, что дед шефа имперской безопасности был еврей и играл на скрипке в венской оперетте.

...Первые попытки контактов с Западом Шелленберг предпринял в 1939 году. Он начал вести сложную игру с двумя английскими разведчиками – Бестом и Стефенсом.

Наладив связь с этими людьми, он хотел не только предстать перед ними в качестве руководителя антигитлеровского заговора генералов, но и полететь в Лондон, войти в контакт с высшими чинами английской разведки, министерства иностранных дел и правительства. Официально выстраивая провокацию против Великобритании, он тем не менее хотел прощупать возможность серьезных контактов с Даунинг-стрит.

Но накануне вылета в Лондон Шелленбергу позвонил Гиммлер. Срывающимся голосом Гиммлер сказал, что на фюрера только что совершено покушение в Мюнхене. Наверняка, считает фюрер, это дело рук английской разведки, и поэтому необходимо англичан, и Беста и Стефенса, выкрасть и привезти в Берлин.

Шелленберг устроил громадный спектакль в Венло, в Голландии. Рискуя жизнью, он выкрал Беста и Стефенса. Их допрашивали всю ночь, и, так как стенографист потом перепечатывал протоколы допросов английских разведчиков на специальной пишущей машинке, где буквы были в три раза больше обычных, Шелленберг понял, что все эти материалы немедленно уходят к фюреру: он не мог читать мелкий шрифт, он мог читать только большие, жирно распечатанные буквы.

Фюрер считал, что покушение на него было организовано «Черной капеллой» его бывшего друга и нынешнего врага Штрассера-младшего вкупе с англичанами Бестом и Стефенсом.

Но в те дни случайно, при попытке перехода швейцарской границы, был арестован плотник Эслер. Под пытками он признался, что покушение на фюрера подготовил он один.

Потом, когда пытки стали невыносимыми, Эслер сказал, что к нему перед самым покушением подключились еще два человека.

Шелленберг был убежден, что эти двое были из «Черной капеллы» Штрассера и никакой связи с англичанами тут нет.

Гитлер на завтра выступил в прессе, обвинив англичан в том, что они руководят работой безумных террористов. Он начал вмешиваться в следствие. Шелленберг, хотя ему это мешало, поделать ничего не мог.

Через три дня, когда следствие еще только разворачивалось, Гитлер пригласил к себе на обед Гесса, Гиммлера, Гейдриха, Бормана, Кейтеля и Шелленберга. Сам он пил слабый чай, а гостей угощал шампанским и шоколадом.

– Гейдрих, – сказал он, – вы должны применить все новости медицины и гипноза. Вы обязаны узнать у Эслера, кто с ним был в контакте. Я убежден, что бомба была приготовлена за границей.

Потом, не дожидаясь ответа Гейдриха, Гитлер обернулся к Шелленбергу и спросил:

– Ну а каково ваше впечатление об англичанах? Вы ведь были с ними лицом к лицу во время переговоров в Голландии.

Шелленберг ответил:

– Они будут сражаться до конца, мой фюрер. Если мы оккупируем Англию, они переберутся в Канаду. А Сталин будет посмеиваться, глядя, как дерутся братья – англосаксы и германцы.

За столом все замерли. Гиммлер, вжавшись в стул, стал делать Шелленбергу знаки, но тот не видел Гиммлера и продолжал свое.

– Конечно, нет ничего хуже домашней ссоры, – задумчиво, не рассердившись, ответил Гитлер. – Нет ничего хуже ссоры между своими, но ведь Черчилль мешает мне. До тех пор, пока они в Англии не станут реалистами, я буду, я обязан, я не имею права не воевать с ними.

Когда все ушли от фюрера, Гейдрих сказал Шелленбергу:

– Счастье, что у Гитлера было хорошее настроение, иначе он обвинил бы вас в том, что вы сделали проангличанином после контактов с Интеллидженс сервис. И как бы мне это ни было больно, но я посадил бы вас в камеру; и как бы мне это ни было больно, я расстрелял бы вас, – естественно, по его приказу.

...В тридцать лет Шелленберг стал шефом политической разведки Третьего рейха.

Когда в сорок третьем агентура Гиммлера донесла, что Риббентроп вынашивает план убийства Сталина – он хотел поехать к Сталину лично, якобы для переговоров, и убить его из специальной авторучки, – рейхсфюрер перехватил эту идею, вошел с ней первым к Гитлеру и приказал Шелленбергу подготовить двух агентов. Один из этих агентов, как он утверждал, знал родственников механика в гараже Сталина.

С коротковолновыми приемниками, сделанными в форме коробки папирос «Казбек», два агента были заброшены через линию фронта в Россию.

(Фон Штирлиц знал, когда эти люди должны были вылететь за линию фронта. Москва была предупреждена, агенты схвачены.)

Провалы в работе Шелленберга компенсировались его умением перспективно мыслить и четко анализировать ситуацию. Именно Шелленберг еще в середине 1944 года сказал Гиммлеру, что самой опасной для него фигурой на ближайший год будет не Герман Геринг, не Геббельс и даже не Борман.

– Шпеер, – сказал он. – Шпеер будет нашим самым главным противником. Шпеер – это внутренняя информация об индустрии и обороне. Шпеер – обер-группенфюрер СС. Шпеер – это министерство вооружения, это тыл и фронт, это в первую голову концерн ИГ, следовательно, прямая традиционная связь с Америкой. Шпеер связан со Шверин фон Крозиком. Это – финансы. Шверин фон Крозик редко когда скрывает свою оппозицию практике фюрера. Не идее фюрера, а именно его практике. Шпеер – это молчаливое могущество. Та группа индустрии, которая сейчас создана и которая занимается планами послевоенного возрождения Германии, – это мозг, сердце и руки будущего. Я знаю, чем сейчас заняты наши промышленники, сплотившиеся вокруг Шпеера. Они заняты двумя проблемами: как выжать максимум прибыли и как эти прибыли перевести в западные банки.

Выслушав эти доводы Шелленберга, Гиммлер впервые задумался о том, что ключ к тайне, которую нес в себе Шпеер, он сможет найти, завладев архивом Бормана, ибо если связи промышленников с нейтралами и с Америкой использует не он, Гиммлер, то наверняка их мог использовать Борман.

18.2.1945 (11 часов 46 минут)

Шелленберг увидел Штирлица в приемной рейхсфюрера.

– Вы – следующий, – сказал Штирлицу дежурный адъютант, пропуская к Гиммлеру начальника хозяйственного управления СС генерала Поля, – я думаю, обергруппенфюрер ненадолго: у него локальные вопросы.

– Здравствуйте, Штирлиц, – сказал Шелленберг. – Я ищу вас.

– Добрый день, – ответил Штирлиц, – что вы такой серый? Устали?

– Заметно?

– Очень.

– Пойдемте ко мне, вы нужны мне сейчас.

– Я вчера просил приема у рейхсфюрера.

– Что за вопрос?

– Личный.

– Вы придете через час-полтора, – сказал Шелленберг, – попросите перенести прием, рейхсфюрер будет здесь до конца дня.

– Хорошо, – проворчал Штирлиц, – только боюсь, это неудобно.

– Я забираю фон Штирлица, – сказал дежурному адъютанту Шелленберг, – перенесите, пожалуйста, прием на вечер.

– Есть, бригаденфюрер!

Шелленберг взял Штирлица под руку и, выходя из кабинета, весело шепнул:

– Каков голос, а? Он рапортует, словно актер оперетты, голосом из живота и с явным желанием понравиться.

– Я всегда жалею адъютантов, – сказал Штирлиц, – им постоянно нужно сохранять многозначительность: иначе люди поймут их ненужность.

– Вы не правы. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки: и поговорить можно между делом, и, если хорош экстерьер, другие охотники будут завидовать.

– Я, правда, знал одного адъютанта, – продолжал Штирлиц, пока они шли по коридорам, – который выполнял роль импрессарио: он всем рассказывал о гениальности своего хозяина. В конце концов ему устроили автомобильную катастрофу: слишком уж был певуч, раздражало...

Шелленберг засмеялся:

– Выдумали или правда?

– Конечно, выдумал...

Около выхода на центральную лестницу им повстречался Мюллер.

– Хайль Гитлер, друзья! – сказал он.

– Хайль Гитлер, дружище, – ответил Шелленберг.

– Хайль, – ответил Штирлиц, не поднимая руки.

– Рад видеть вас, чертей, – сказал Мюллер, – снова затеваете какое-нибудь очередное коварство?

– Затеваем, – ответил Шелленберг, – почему ж нет?

– С вашим коварством никакое наше не сравнится, – сказал Штирлиц, – мы агнцы божьи в сравнении с вами.

– Это со мной-то? – удивился Мюллер. – А впрочем, Это даже приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается.

Мюллер дружески похлопал по плечу Шелленберга и Штирлица и зашел в кабинет одного из своих сотрудников: он любил заходить к ним в кабинеты без предупреждения и особенно во время скучных допросов.

Информация к размышлению (Черчилль)

Когда Гитлер в последние месяцы войны повторял как заклинание, что вопрос крушения англо-советско-американского союза есть вопрос недель, когда он уверял всех, что Запад еще обратится за помощью к немцам после решающего поражения, многим казалось это проявлением характера фюрера – до конца верить в то, что создало его воображение. Однако в данном случае Гитлер опирался на факты: разведка Бормана еще в середине 1944 года добыла в Лондоне документ особой секретности. В этом документе, в частности, были следующие строки, принадлежавшие Уинстону Черчиллю: «Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древнейших европейских государств». Он писал это в своем секретном меморандуме в октябре 1942 года, когда русские были не в Польше, а под Сталинградом, не в Румынии, а возле Смоленска, не в Югославии, а под Харьковом.

Вероятно, Гитлер не издавал бы приказов, карающих всякие попытки переговоров немедленной смертью, узнай он о том яростном борении мнений, которое существовало в 1943–1944 годах между англичанами и американцами по поводу направления главного удара союзных армий. Черчилль настаивал на высадке войск на Балканах. Он мотивировал эту необходимость следующим: «Вопрос стоит так: готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Надо точно отдавать себе отчет о тех преимуществах, которые получают западные демократии, если их армии оккупируют Будапешт и Вену и освободят Прагу и Варшаву...»

Трезводумающие американцы понимали, что попытки Черчилля навязать основной удар по Гитлеру не во Франции, а на Балканах сугубо эгоистичны. Они отдавали себе отчет в том, что победа точки зрения Черчилля сделает Великобританию гегемоном на Средиземном море. Следовательно, именно Великобритания оказалась бы хозяином Африки, арабского Востока, Италии, Югославии и Греции. Баланс сил, таким образом, сложился бы явно не в пользу Соединенных Штатов – и высадка была намечена во Франции.

Политик осторожный и смелый, Черчилль мог бы, при определенных критических обстоятельствах, вступить в контакты с теми, кто стоял в оппозиции к фюреру, для создания единого фронта, способного противостоять рывку русских к берегам Атлантики, чего Черчилль более всего опасался. Однако таких сил после уничтожения заговорщиков летом 1944 года в Германии не оставалось. Но, считал Черчилль, всякий осторожный «роман» с теми из руководства рейха, кто пытался бы осуществить капитуляцию армий вермахта на западе, был хотя и мало реален – в силу твердой позиции Рузвельта и прорусских настроений во всем мире, – однако этот «роман» позволял бы ему проводить более жесткую политику по отношению к Сталину, особенно в польском и греческом вопросах.

И когда военная разведка доложила Черчиллю о том, что немцы ищут контактов с союзниками, он ответил:

– Британию могут обвинить в медлительности, дерзости, в юмористической аналитичности... Однако Британию никто не может обвинить в коварстве, и я молю Бога, чтобы нас никогда не смогли обвинить в этом. Однако, – добавил он, и глаза его сделались стальными, и только где-то в самой их глубине метались искорки смеха, – я всегда просил проводить точную грань между дипломатической игрой, обращенной на укрепление содружества наций, и – прямым, неразумным коварством. Только азиаты могут считать тонкую и сложную дипломатическую игру – коварством...

– Но в случае целесообразности игра может оказаться не игрой, а более серьезной акцией? – спросил помощник шефа разведки.

– По-вашему, игра – это несерьезно? Игра – это самое серьезное, что есть в мире. Игра и живопись. Все остальное суетно и мелко, – ответил Черчилль. Он лежал в постели, он еще не поднялся после своего традиционного дневного сна, и поэтому настроение у него было благодушное и веселое. – Политика в таком виде, в каком мы привыкли воспринимать ее, умерла. На смену локальной политике элегантных операций в том или ином районе мира пришла глобальная политика. Это уже не своеволие личности, это уже не эгоистическая устремленность той или иной группы людей, это наука точная, как математика, и опасная, как экспериментальная радиация в медицине. Глобальная политика принесет неисчислимые трагедии малым странам; это политика поломанных интеллектов и погибших талантов. Глобальной политике будут подчинены живописцы и астрономы, лифтеры и математики, короли и гении. – Черчилль поправил плед и добавил: – Соединение в одном периоде короля и гения отнюдь не обращено против короля; противопоставление, заключенное в этом периоде, случайно, а не целенаправленно. Глобальная политика будет предполагать такие неожиданные альянсы, такие парадоксальные повороты в стратегии, что мое обращение к Сталину 22 июня 1941 года будет казаться верхом логики и последовательности. Впрочем, мое обращение было логичным, вопрос последовательности вторичен. Главное – интересы Британской империи, все остальное будет прощено историей...

18.2.1945 (12 часов 09 минут)

– Здравствуйте, фрау Кин, – сказал человек, склонившись к изголовью кровати.

– Здравствуйте, – ответила Кэт чуть слышно. Ей еще было трудно говорить, в голове все время шумело, каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем как все снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей доныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось – и страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость, и высокое, недоступное ей раньше спокойствие.

– Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кин, – продолжал человек, – вы меня слышите?

– Да.

– Я не стану вас долго тревожить... Откуда вы?

– Я из страховой компании... Моего мужа... больше нет?

– Я попросил бы вас вспомнить: когда упала бомба, где он находился?

– Он был в ванной комнате.

– У вас еще оставались брикеты? Это ведь такой дефицит? Мы у себя в компании так мерзнем...

– Он купил... несколько штук... по случаю...

– Вы не устали?

– Его... нет?

– Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Его больше нет... Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получить, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают, одежду мы приготовим ко времени вашего выхода: и вам и младенцу... Какой очаровательный карапуз... Девочка?

– Мальчик.

– Крикун?

– Нет... Я даже не слышала его голоса.

Она вдруг забеспокоилась из-за того, что ни разу не слышала голоса сына.

– Они должны часто кричать? – спросила она. – Вы не знаете?

– Мои орала ужасно, – ответил мужчина, – у меня лопались перепонки от их воплей. Но мои рождались худенькими, а ваш – богатырь. А богатыри все молчуны... фрау Кин, простите, если вы еще не очень устали, я бы хотел спросить вас: на какую сумму было застраховано ваше имущество?

– Я не знаю... Этим занимался муж...

– И в каком отделении вы застрахованы – тоже, видимо, не помните?

– Кажется, на Кудам.

– Ага, это двадцать седьмое отделение. Уже значительно проще навести справки...

Человек записал все это в свою потрёпанную книжечку; снова откашлявшись, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал:

– А вот плакать и волноваться молодой маме нельзя никак. Поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. Вы не имеете права думать только о себе, это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике...

– Я не буду, – шепнула Кэт и притронулась ледяными пальцами к его теплой, влажной руке, – спасибо вам...

– Где ваши родные? Наша компания поможет им приехать к вам. Мы оплачиваем проезд и предоставляем жилье. Конечно, вы понимаете, что гостиницы частью разбиты, а частью отданы военным. Но у нас есть частные комнаты. Ваши родные не будут на нас в обиде. Куда следует написать?

– Мои родные остались в Кенигсберге, – ответила Кэт, – я не знаю, что с ними.

– А родственники мужа? Кому сообщить о несчастье?

– Его родственники живут в Швеции. Но им писать неудобно: дядя мужа – большой друг Германии, и нас просили не писать ему... Мы посылали письма с оказией или через посольство.

– Вы не помните адрес?

В это время заплакал мальчик.

– Простите, – сказала Кэт, – я покормлю его, а после скажу вам адрес.

– Не смею мешать, – сказал человек и вышел из палаты.

Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле. Голова по-прежнему болела, но тошноты она не чувствовала. Она не успела по-настоящему продумать вопросы, которые ей только что задавали, потому что малыш начал сосать, и все тревожное, но чаще всего далекое-далекое, чужое – ушло. Остался только мальчик, который жадно сосал грудь и быстро шевелил ручками: она распеленала его и смотрела, какой он большой, красный, весь словно перевязанный ниточками.

Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время, и в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека.

«Почему я одна здесь? – вдруг подумала Кэт. – Где я?»

Человек пришел через полчаса. Он долго любовался спящим мальчиком, а потом достал из папки фотографии, разложил их на коленях и спросил:

– Пока я буду записывать адрес вашего дяди, пожалуйста, взгляните, нет ли здесь ваших вещей. После бомбежки часть вещей из вашего дома удалось найти: знаете, в вашем горе даже один чемодан уже подспорье. Что-то можно будет продать, купите для малыша самое необходимое. Мы, конечно, постараемся все приготовить к вашему выходу, но все-таки...

– Франц Паакенен, Густав Георгплац, 25. Стокгольм.

– Спасибо. Вы не утомились?

– Немного утомилась, – ответила Кэт, потому что среди аккуратно расставленных чемоданов и ящиков на улице, возле развалин их дома, стоял большой чемодан – его нельзя было спутать с другими. В этом чемодане у Эрвина хранилась радиостанция...

– Посмотрите внимательно, и я откланяюсь, – сказал человек, протягивая ей фотографию.

– По-моему, нет, – ответила Кэт, – здесь наших чемоданов нет.

– Ну, спасибо, тогда этот вопрос будем считать решенным, – сказал человек, осторожно спрятав фотографию в портфель и, поклонившись, поднялся. – Через день-другой я загляну к вам и сообщу результаты моих хлопот. Комиссионные, которые я беру – что поделаешь, такое время! – крайне незначительны...

– Я буду вам очень признательна, – ответила Кэт.

Следователь районного отделения гестапо сразу же отправил на экспертизу отпечатки пальцев Кэт: фотографию, на которой были чемоданы, заранее покрыли в лаборатории специальным составом. Отпечатки пальцев на радиопередатчике, вмонтированном в чемодан, были уже готовы. Выяснилось, что на чемодане с радиостанцией были отпечатки пальцев, принадлежавшие трем разным людям. Вторую справку следователь направил в VI управление имперской безопасности: он запрашивал все относящееся к жизни и деятельности шведского подданного Франца Паакенена.

18.2.1945 (12 часов 17 минут)

Айсман долго расхаживал по своему кабинету. Он ходил быстро, заложив руки за спину, все время чувствуя, что ему недостает чего-то очень привычного и существенного. Это мешало ему сосредоточиться; он отвлекался от главного, он не мог до конца проанализировать то, что его мучило, – почему Штирлиц попал под «колпак»?

Наконец, когда натужно, выматывающе завывли сирены воздушной тревоги, Айсман понял: ему недоставало бомбежки. Война стала бытом, тишина казалась опасной и несла в себе больше затаенного страха, чем бомбежка.

«Слава богу, – подумал Айсман, когда сирена, проплавав, смолкла и наступила тишина. – Теперь можно сесть и работать. Сейчас все уйдут, и я смогу сидеть и думать, и никто не будет входить ко мне с дурацкими вопросами и дикими предположениями...»

Айсман сел к столу и начал листать дело протестантского священника Фрица Шлага, арестованного летом 1944 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Постановлению на арест предшествовали два доноса: Барбары Крайн и Роберта Ниче. Оба они были прихожанами его кирхи, и в их доносах говорилось о том, что в проповедях пастор Шлаг призывает к миру и к братству со всеми народами, осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим канцлером Брюнингом, который сейчас жил в эмиграции, с министром Виртом. У них еще в двадцатых годах наладились добрые отношения, однако никаких данных, указывающих на связь пастора с эмигрировавшим канцлером, в деле не имелось, несмотря на самую тщательную проверку – как здесь, в Германии, так и в Швейцарии.

Айсман недоумевал – отчего пастор Шлаг попал в разведку? Почему он не был отправлен в гестапо? Отчего им заинтересовались люди Шелленберга? Он нашел для себя ответ в короткой справке, приобщенной к делу: пастор дважды в 1933 году выезжал в Великобританию и Швейцарию для участия в конгрессах пацифистов.

«Они заинтересовались его связями, – понял Айсман, – им было интересно, с кем он там контактовался. Поэтому его взяли к себе люди из разведки, поэтому его и передали Штирлицу. При чем здесь Штирлиц? Ему поручили – он выполнил...»

Айсман пролистал дело: допросы были коротки и лаконичны. Он хотел объективности ради сделать какие-то выписки, с тем чтобы его заключение было мотивированным и документальным, но выписывать было практически нечего. Допрос был проведен в манере, не похожей на обычную манеру Штирлица: никакого блеска, сплошная казенщина и прямолинейность.

Айсман позвонил в специальную картотеку и попросил техническую запись допроса пастора Шлага штандартенфюрером Штирлицем 29 сентября 1944 года.

«– Хочу вас предупредить: вы арестованы, а для того, кто попал в руки правосудия национал-социализма, призванного карать виновных и защищать народ от скверны, выход отсюда к нормальной жизни и деятельности практически невозможен. Невозможна также нормальная жизнь ваших родных. Оговариваюсь: все это возможно при том условии, если, во-первых, вы, признав свою вину, выступите с разоблачением остальных деятелей церкви, которые не лояльны по отношению к нашему государству, и, во-вторых, в дальнейшем будете помогать нашей работе. Вы принимаете эти предложения?»

– Я должен подумать.

– Сколько времени вам нужно на раздумье?

– Сколько времени нужно человеку, чтобы подготовиться к смерти?

Ваше предложение неприемлемо.

– Я предлагаю вам еще раз вернуться к моему предложению. Вы говорите, что вы в том и другом случае конченный человек, но разве вы не являетесь патриотом Германии?

– Являюсь. Но что понимать под “патриотом Германии”?

– Верность нашей идеологии.

– Идеология – это еще не страна.

– Во всяком случае, наша страна живет идеологией фюрера. Разве не есть ваш долг, долг духовного пастыря, быть с народом, который исповедует нашу идеологию?

– Если бы я вел с вами равный спор, я бы знал, что ответить на это.

– А я приглашаю вас к равному спору.

– Быть с народом – это одно, а чувствовать себя в том положении, когда ты поступаешь по справедливости и по вере, – другое. Эти вещи могут совпадать и могут не совпадать. В данном случае вы мне предлагаете выход не тот, который соответствует моему убеждению. Вы собираетесь меня использовать как момент приложения каких-то сил, с тем чтобы я вам подписал какое-то заявление. Облекаете же вы это предложение в такую форму, как будто видите во мне личность. Зачем же вы говорите со мной как с личностью, когда вы предлагаете мне быть рычагом? Так и скажите: или мы тебя убьем, или подпиши эту бумагу. А куда идет немецкий народ, на каком языке он говорит, мне не важно, ибо, по существу, я уже мертвец.

– Это неправильно. Неправильно по следующим причинам. Я не прошу вас подписывать никакой бумаги. Допустим, я снимаю свой первый вопрос, свое первое предложение о вашем открытом выступлении в прессе и по радио, в котором вы выскажетесь против своих собратьев по религии, оппозиционных нашему режиму. Я просил бы вас сначала прийти к моей правде национал-социализма, а потом, если вы найдете для себя возможность согласиться с этой правдой, помогать нам в той мере, в какой вы поверите в нашу истину.

– Если вопрос стоит так – попробуйте меня убедить в том, что национал-социализм дает человеку больше, чем что бы то ни было другое.

– Я готов. Но ведь национал-социализм – это наше государство, государство, ведомое великими идеями фюрера, в то время как альтернативой этому государству вы, люди веры, ничего не предлагаете. Вы предлагаете только моральное совершенство.

– Совершенно точно.

– Но ведь не только моральным совершенством жив человек, хотя он жив и не только хлебом единым. Значит, мы хотим блага нашему народу. Давайте будем считать это первым шагом на том пути, который потом приведет к дальнейшему моральному совершенствованию нашей нации.

– Хорошо, в таком случае я спрошу вас об одном: концлагеря или допросы, подобные тому, какой вы ведете в отношении меня, духовного лица, есть неизбежное следствие вашей государственности?

– Бесспорно, ибо мы оберегаем вас от гнева нашей нации, которая, узнав, что вы являетесь противником фюрера, противником нашей идеологии, подвергнет вас физическому уничтожению.

– Но где же начало, а где следствие? Откуда появляется гнев нации, и является ли гнев нации необходимой чертой того режима, который вы проповедуете? Если – да, то с каких пор гнев стал самостоятельным положительным фактором? Это не гнев, это реакция на зло. Если гнев у вас лежит в основании, если гнев у вас есть причина, а все остальное следствие, одним словом, если вы зло вводите в причину, то почему вы хотите меня убедить, что зло – это благо?

– Нет, “зло” – это сказали вы, а я сказал – “ненависть народа”. Ненависть народа, который впервые за много лет унижительного Версальского договора, после засилия еврейских банкиров и лавочников получил возможность спокойной жизни. Народ гневается, когда кто-то, пускай даже духовное лицо, пытается подвергнуть сомнению те великие завоевания, которые принесла наша партия, ведомая великим фюрером.

– Очень хорошо... Спокойно жить и воевать – это одно и то же?

– Мы воюем только для того, чтобы обеспечить себе жизненное пространство.

– А держать четверть населения в концлагерях – это благо или это та самая гармоническая жизнь, за которую я должен положить живот свой?

– Вы ошибаетесь. В наших концлагерях, которые, кстати говоря, не являются орудием уничтожения, – это вы пользуетесь, очевидно, сведениями, почерпнутыми из вражеских источников, – содержится отнюдь не четверть страны. И потом, на воротах каждого нашего концлагеря написано: “Работа делает свободным”. Мы в концлагерях перевоспитываем заблудших, но, естественно, те, которые не заблуждались, но были нашими врагами, те подлежат уничтожению.

– Значит, вы решаете, кто перед вами виноват, кто – нет?

– Бесспорно.

– Значит, вы заранее знаете, чего хочет данный человек, где он ошибается, а где нет?

– Мы знаем, чего хочет народ.

– Народ. Из кого состоит народ?

– Из людей.

– Как же вы знаете, чего хочет народ, не зная, чего хочет каждый человек? Вернее, зная заранее, чего он хочет, диктуя ему, предписывая? Это уже химера.

– Вы не правы. Народ хочет хорошей пищи...

– И войны за нее?

– Подождите. Хорошей пищи, хорошего дома, автомобиля, радости в семье и – войны за это свое счастье! Да, войны!

– И еще он хочет, чтобы инакомыслящие сидели в лагерях? Если одно вытекает из другого с неизбежностью, значит, что-то неправильно в нашем счастье, ибо счастье, которое добывается таким способом, уже не может быть, с моей точки зрения, чистым. Я, может быть, смотрю на вещи иначе, чем вы. Наверное, с вашей точки зрения, цель оправдывает средство?

– Вы, как пастырь, видимо, не подвергаете ревизии все развитие христианства? Или вы все же позволяете себе подвергать остракизму отдельные периоды в развитии христианского учения? В частности, инквизицию?

– Я знаю, что вам ответить. Разумеется, инквизиция была в истории христианства. Между прочим, с моей точки зрения, падение испанцев как нации было связано с тем, что они подменили цель средством. Инквизиция, которая первоначально была утверждена как средство очищения веры, постепенно превратилась в самоцель. То есть само очищение, само аутодафе, сама эта жестокость, само это преследование инакомыслящих, которое первоначально задумывалось как очищение верой, постепенно стало ставить зло перед собой как самоцель.

– Понятно. Скажите, а как часто в истории христианства инакомыслящие уничтожались церковью во имя того, естественно, чтобы остальной пастве лучше жилось?

– Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики. А все ереси в истории христианства – суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого либо стать богатым и сесть на его место, между тем как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком и что богатство так же преходяще, как бедность. В то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали к крови. Между прочим, идея зла – это, как правило, принадлежность еретических учений, и церковь выступала против ересей во имя того, чтобы насилие не вводилось в нравственный кодекс христианства.

– Правильно. Но, выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала насилие?

– Допускала, но не делала его целью и не оправдывала его в принципе.

– Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, восьми-девяти веков, не так ли? Значит, восемьсот – девятьсот лет насильничали ради того, чтобы искоренить насилие. Мы пришли к власти в 1933 году. Чего же вы хотите от нас? За одиннадцать лет мы ликвидировали безработицу, за одиннадцать лет мы накормили всех немцев, да – насильно инакомыслящих! А вы мешаете нам – словесно! Но если вы такой убежденный

противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не духовное? В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас? Листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти?

– Нет, я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине... не потому, что я боюсь чего бы то ни было... Просто этот путь кажется мне в принципе неприемлемым, потому что, если я начну против вас применять ваши методы, я невольно стану похожим на вас.

– Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет: “Святой отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него...”

– Я не буду ему мешать.

– Он скажет: “Я хочу убить гауляйтера”. А у гауляйтера трое детей, девочки: два года, пять лет и девять лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите?

– Я не знаю.

– И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь трех маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне?

– Нет, я ничего вам не буду говорить, ибо, спасая жизнь одним, можно неизбежно погубить жизнь других. Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае – устранившись от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, это путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови.

– Я убежден, если в гестапо к вам применяют третью степень допроса – это будет мучительно и больно, – вы все-таки назовете фамилию того человека.

– Вы хотите сказать, что, если превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае, зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно, используйте меня как животное или как машину...

– Скажите, а если бы к вам обратились люди – злые враги, безумцы – с просьбой поехать за рубеж, в Великобританию, Швецию или Швейцарию, и стать посредником, передать какое-либо письмо, эта просьба оказалась бы для вас осуществимой?

– Быть посредником – естественное для меня состояние.

– Почему так?

– Потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу – мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе это одно и то же отношение – отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми в принципе является для меня естественным. Единственное условие, которое я для себя при этом

ставлю, чтобы это посредничество вело к добру и осуществлялось добрыми средствами.

– Даже если посредничество было бы злом для нашего государства?

– Вы вынуждаете меня давать общие оценки. Вы прекрасно понимаете, что, если государство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одобрять его в принципе. Конечно, я хотел бы, чтобы люди жили иначе, чем они живут. Но если бы я знал, как этого добиться! В принципе я хотел бы, чтобы те люди, которые сейчас составляют национал-социалистское государство, остались живы и все составляли бы какое-то иное единство. Мне не хотелось бы никого убивать.

– По-моему, предательство страшно, но еще страшнее равнодушное и пассивное наблюдение за тем, как происходит и предательство и убийство.

– В таком случае, может быть только одно участие в этом: прекращение убийства.

– Сие от вас не зависит.

– Не зависит. А что вы называете предательством?

– Предательство – это пассивность.

– Нет, пассивность – это еще не предательство.

– Это страшнее предательства...»

Шелленберг сказал:

– Это были тонные бомбы, не меньше.

– Видимо, – согласился Штирлиц. Он сейчас испытывал острое желание выйти из кабинета и немедленно сжечь ту бумагу, которая лежала у него в папке – рапорт Гиммлеру о переговорах «изменников СД» с Западом. «Эта хитрость Шелленберга, – думал Штирлиц, – не так проста, как кажется. Пастор, видимо, интересовал его с самого начала. Как фигура прикрытия в будущем. То, что пастор понадобился именно сейчас, – симптоматично. И без ведома Гиммлера он бы на это не пошел!» Но Штирлиц понимал, что он должен не спеша, пошучивая, обговаривать с Шелленбергом все детали предстоящей операции.

– По-моему, улетают, – сказал Шелленберг, прислушиваясь. – Или нет?

– Улетают, чтобы взять новый запас бомб...

– Нет, эти сейчас будут развлекаться на базах. У них хватает самолетов, чтобы бомбить нас непрерывно... Так, значит, вы считаете, что пастор, если мы возьмем его сестру с детьми как заложников, обязательно вернется?

– Обязательно...

– И будет по возвращении молчать на допросе у Мюллера о том, что именно вы просили его поехать туда в поиске контактов?

– Не убежден. Смотря кто его будет допрашивать.

– Лучше, чтобы у вас остались магнитофонные ленты с его беседами, а он... так сказать, сыграл в ящик при бомбежке?

– Подумаю.

– Долго хотите думать?

– Я бы просил разрешить повертеть эту идею как следует.

– Сколько времени вы собираетесь «вертеть идею»?

– Постараюсь к вечеру кое-что предложить.

– Хорошо, – сказал Шелленберг. – Улетели все-таки... Хотите кофе?

– Очень хочу, но только когда кончу дело.

– Хорошо. Я рад, что вы так точно все поняли, Штирлиц. Это будет хороший урок Мюллеру. Он стал хамить. Даже рейхсфюреру. Мы сделаем его работу и утрем ему нос. Мы очень поможем рейхсфюреру.

– А рейхсфюрер не знает об этом?

– Нет... Скажем так – нет. Ясно? А вообще мне очень приятно работать с вами.

– Мне тоже.

Шелленберг проводил штандартенфюрера до двери и, пожав ему руку, сказал:

– Если все будет хорошо, сможете поехать дней на пять в горы: там сейчас прекрасный отдых – снег голубой, загар коричневый... Боже, прелесть какая, а? Как же много мы забыли с вами во время войны!

– Прежде всего, мы забыли самих себя, – ответил Штирлиц, – как пальто в гардеробе после крепкой попойки на Пасху.

– Да, да, – вздохнул Шелленберг, – как пальто в гардеробе... Стихи давно перестали писать?

– И не начинал вовсе.

Шелленберг погрозил ему пальцем:

– Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц.

– Могу поклясться, – улыбнулся Штирлиц, – все писал, кроме стихов: у меня идиосинкразия к рифме.

18.2.1945 (13 часов 53 минуты)

Уничтожив свое письмо к Гиммлеру и доложив адъютанту рейхсфюрера, что все вопросы решены у Шелленберга, Штирлиц вышел из дома на Принц-Альбрехтштрассе и медленно пошел к Шпрее. Тротуар был подметен, хотя еще ночью здесь был завал битого кирпича: бомбили теперь каждой ночью по два, а то и по три раза.

«Я был на грани провала, – думал Штирлиц. – Когда Шелленберг поручил мне заняться пастором Шлагом, его интересовал бывший канцлер Брюнинг, который сейчас живет в эмиграции в Швейцарии. Его волновали связи, которые могли быть у пастора. Поэтому Шелленберг так легко пошел на освобождение старика, когда я сказал, что он станет сотрудничать с нами. Он смотрел дальше, чем я. Он рассчитывал, что пастор станет подставной фигурой в их серьезной игре. Как пастор может войти в операцию Вольфа? Что это за операция? Почему Шелленберг сказал о поездке Вольфа в Швейцарию, включив радио? Если он боится произвести это громко, то, значит, обергруппенфюрер Карл Вольф наделен всеми полномочиями: у него ранг в СС, как у Риббентропа или Фегеляйна. Шелленберг не мог не сказать про Вольфа – иначе я бы задал ему вопрос: “Как можно готовить операцию, играя втемную?” Неужели Запад хочет сесть за стол с Гиммлером? В общем-то, за Гиммлером – сила, это они понимают. Это немыслимо, если они сядут за один стол! Ладно... Пастор будет приманкой, прикрытием, так они все задумали. Но они, верно, не учли, что Шлаг имеет там сильные связи. Значит, я должен так сориентировать старика, чтобы он использовал свое влияние против тех, кто – моими руками – отправит его туда. Я-то думал использовать его в качестве запасного канала связи, но ему, вероятно, предстоит сыграть более ответственную роль. Если я снабжу его своей легендой, а не текстом Шелленберга, к нему придут и из Ватикана, и от англо-американцев. Ясно. Я должен подготовить ему такую легенду, которая вызовет к нему серьезный интерес, контринтерес по отношению ко всем другим немцам, прибывшим или собирающимся прибыть туда. Значит, сейчас мне важна легенда для него – во-первых, и имена тех, кого он представляет здесь – как оппозицию Гитлеру и Гиммлеру, – во-вторых».

Штирлиц долго сидел за рюмкой коньяку, спустившись в «Вайнштюбе». Здесь было тихо, и никто не отвлекал его от раздумий.

«Один Шлаг – это и много и мало. Мне нужна страховка. Кто? – думал Штирлиц. – Кто же?»

Он закурил, положил сигарету в пепельницу и сжал пальцами стакан с горячим грогом. «Откуда у них столько вина? Единственное, что продается без карточек, – вино и коньяк. Впрочем, от немцев можно ожидать чего угодно, только одно им не грозит – спиваться они не умеют. Да, мне нужен человек, который ненавидит эту банду. И который может быть не просто связным. Мне нужна личность...»

Такой человек у Штирлица был. Главный врач госпиталя имени Коха Плейшнер помогал Штирлицу с сорок первого года. Антифашист, ненавидевший гитлеровцев, он был поразительно смел и хладнокровен. Штирлиц порой не мог понять, откуда у этого блистательного врача, ученого, интеллектуала столько яростной, молчаливой ненависти к нацистскому режиму. Когда он говорил о фюрере, лицо его делалось похожим на маску. Гуго Плейшнер несколько раз проводил вместе со Штирлицем великолепные операции: они спасли от провала группу советской разведки в сорок втором году, они достали особо секретные материалы о готовящемся наступлении вермахта в Крыму, и Плейшнер переправил их в Москву, получив разрешение гестапо на выезд в Швецию с лекциями в университете.

Он умер внезапно полгода назад от паралича сердца. Его старший брат, профессор Плейшнер, в прошлом проректор Кильского университета, после превентивного заключения в концлагере Дахау вернулся домой тихим, молчаливым, с замершей на губах послушной улыбкой. Жена ушла от него вскоре после ареста – родственники настояли на этом: младший ее брат получил назначение советником по экономическим вопросам в посольство рейха в Испании. Молодого человека считали перспективным, к нему благоволити и в МИДе, и в аппарате НСДАП, поэтому семейный совет поставил перед фрау Плейшнер дилемму: либо отмежеваться от врага государства, ее мужа, либо, если ей дороже ее эгоистические интересы, она будет подвергнута семейному суду, и все родственники через прессу объявят о полном с ней разрыве, как с женой «врага нации».

Фрау Плейшнер была моложе профессора на десять лет: ей было сорок два. Она любила мужа – они вместе путешествовали по Африке и Азии, там профессор занимался раскопками, уезжая на лето в экспедиции с археологами из берлинского музея «Пергамон». Она поначалу отказалась отмежеваться от мужа, и многие в ее семейном клане – это были люди, связанные на протяжении последних ста лет с текстильной торговлей, – потребовали открытого с ней разрыва. Однако Франц фон Энс, младший брат фрау Плейшнер, отговорил родственников от этого публичного скандала. «Все равно, – объяснил он, – этим воспользуются наши враги. Зависть безмерна, и мне еще этот скандал аукнется. Нет, лучше все сделать тихо и аккуратно».

Он привел к фрау Плейшнер своего приятеля из клуба яхтсменов. Тридцатилетнего красавца звали Гетц. Над ним подшучивали: «Гетц на Берлихинген». Он был красив в такой же мере, как и глуп. Франц знал: он живет на содержании у стареющих женщин. Втроем они посидели в маленьком ресторане, и, наблюдая за тем, как вел себя Гетц, Франц фон Энс успокоился. Дурак-то он дурак, но партию свою отрабатывал точно, по установившимся штампам, а коль скоро штампы создались, надо было доводить их до совершенства. Гетц был молчалив, хмур и могуч. Раза два он рассказал смешные анекдоты. Потом сдержанно пригласил фрау Плейшнер потанцевать. Наблюдая за ними, Франц презрительно и самодовольно шурился: сестра тихо смеялась, а Гетц, прижимая ее к себе все теснее и теснее, что-то шептал ей на ухо.

Через два дня Гетц переехал в квартиру профессора. Он пожил там неделю – до первой полицейской проверки. Фрау Плейшнер пришла к брату со слезами: «Верни мне его, это ужасно, что мы не вместе». Назавтра она подала прошение о разводе с мужем. Это сломило профессора: он полагал, что жена – его первый единомышленник. Мучаясь в лагере, он считал, что спасает этим ее честность и ее свободу мыслить так, как ей хочется.

Как-то ночью Гетц спросил ее: «Тебе было с ним лучше?» Она в ответ тихо засмеялась и, обняв его, сказала: «Что ты, любимый... Он умел только хорошо говорить...»

После освобождения Плейшнер, не заезжая в Киль, отправился в Берлин. Брат, связанный со Штирлицем, помог ему устроиться в музей «Пергамон». Здесь он работал в отделе Древней Греции. Именно здесь Штирлиц, как правило, назначал встречи своим агентам, поэтому довольно часто, освободившись, он заходил к Плейшнеру и они бродили по громадным пустым залам величественных «Пергамона» и «Бодо». Плейшнер уже знал, что Штирлиц обязательно будет долго любоваться скульптурой «Мальчик, вынимающий занозу»; он знал, что Штирлиц несколько раз обойдет скульптурный портрет Цезаря – из черного камня, с белыми остановившимися неистовыми глазами, сделанными из странного прозрачного минерала. Профессор таким образом организовывал маршрут их прогулок по залам, чтобы Штирлиц имел возможность задержаться возле античных масок: трагизма, смеха, разума. Профессор не мог, правда, знать, что Штирлиц, возвращаясь домой, подолгу простаивал возле зеркала в ванной, тренируя лицо, словно актер. Разведчику, считал Штирлиц, надо учиться управлять лицом. Древние владели этим искусством в совершенстве...

Однажды Штирлиц попросил у профессора ключ от стеклянного ящика, в котором хранились бронзовые статуэтки с острова Самое.

– Мне кажется, – сказал он тогда, – что, прикоснусь я к этой святыне, сразу же совершится какое-то чудо, и я стану другим, в меня войдет часть спокойной мудрости древних.

Профессор принес Штирлицу ключ, и Штирлиц сделал для себя слепок. Здесь, под статуэткой женщины, он организовал тайник.

Он любил беседовать с профессором. Штирлиц говорил:

– Искусство греков при всей своей талантливости чересчур пластично и в какой-то мере женственно. Римляне значительно жестче. Вероятно, поэтому они ближе к немцам. Греков волнует общий абрис, а римляне – дети логической завершенности, отсюда страсть к отработке деталей. Посмотрите, например, портрет Марка Аврелия. Он герой, он объект для подражания, в него должны играть дети.

– Детали одежды, точность решения торса действительно прекрасны, – осторожно возражал Плейшнер. После лагеря он разучился спорить, в нем жило постоянное, осторожное несогласие – всего лишь. Раньше он ярился и уничтожал оппонента. Теперь он только выдвигал осторожные контрдоводы. – Однако посмотрите внимательно на его лицо. Какую мысль несет в себе Аврелий? Он вне мысли, он памятник собственному величию. Если вы внимательно посмотрите искусство Франции конца восемнадцатого века, вы сможете убедиться в том, что Греция перекечевала в Париж, великая Эллада пришла к вольнодумцам...

Как-то Плейшнер задержал Штирлица возле фресок «человекозверей»: голова человека, а торс яростного вепря.

– Как вам это? – спросил Плейшнер.

Штирлиц подумал: «Похоже на сегодняшних немцев, превращенных в тупое, послушное, дикое стадо». Он ничего не ответил Плейшнеру и отделался некими «социальными» звуками – так он называл «м-да», «действительно», «ай-яй-яй», когда молчание нежелательно, но и всякий прямой ответ невозможен.

Проходя через пустые залы «Пергамона», Штирлиц часто задавал себе вопрос: «Отчего же люди, творцы этого великого искусства, так варварски относились к своим гениям? Почему они разрушали, и жгли, и бросали на землю скульптуры? Отчего они были так бездушны к талантам своих ваятелей и художников? Почему нам приходится собирать оставшиеся крохи и по этим крохам учить наше потомство прекрасному? Почему и древние так неразумно отдавали своих живых богов на закланье варварам?»

Штирлиц допил свой гог и раскурил потухшую сигарету. «Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне недостает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи? – Он усмехнулся: – По-моему, я начал хитрить даже с самим собой. “С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой...” Так, кажется, у Пастернака?»

– Герр обер! – окликнул он кельнера. – Я ухожу, счет, пожалуйста...

Информация к размышлению (Борман)

Об этом человеке никто ничего не знал. Он редко появлялся в кадрах кинохроники и еще реже на фотографиях возле фюрера. Небольшого роста, крутоголовый, со шрамом на щеке, он старался прятаться за спины соседей, когда фотографы щелкали затворами своих камер.

Говорили, что в 1924 году он просидел четырнадцать месяцев в тюрьме за политическое убийство. Никто толком не знал его до того дня, когда Гесс улетел в Англию. Гиммлер получил приказ фюрера навести порядок в «этом паршивом бардаке». Так фюрер отозвался о партийной канцелярии, шефом которой был Гесс – единственный из членов партии, называвший фюрера по имени и на «ты». За ночь люди Гиммлера провели более семисот арестов. Были арестованы близкие сотрудники Гесса, но аресты обошли ближайшего помощника шефа партийной канцелярии – его первого заместителя Мартина Бормана. Более того, он в определенной мере направлял руку Гиммлера: он спасал нужных ему людей от ареста, а ненужных, наоборот, отправлял в лагерь.

Став преемником Гесса, он ничуть не изменился: был по-прежнему молчалив, так же ходил с блокнотиком в кармане, куда записывал все, что говорил Гитлер; жил по-прежнему очень скромно. Он держался подчеркнуто почтительно с Герингом, Гиммлером и Геббельсом, но постепенно, в течение года-двух, смог сделаться столь необходимым фюреру, что тот шутя называл его своей тенью. Он умел так организовать дело, что если Гитлер интересовался чем-нибудь, садясь за обед, то к кофе у Бормана уже был готовый ответ. Когда однажды в Берхтесгадене фюреру устроили овацию и получилась неожиданная, но тем не менее грандиозная демонстрация, Борман заметил, что Гитлер стоит на солнцепеке. Назавтра на том самом месте Гитлер увидел дуб: за ночь Борман организовал пересадку громадного дерева...

Он знал, что Гитлер никогда заранее не готовит речей: фюрер всегда полагался на экспромт, и экспромт ему обычно удавался. Но Борман, особенно во время встреч с государственными деятелями из-за рубежа, не забывал набросать для фюрера ряд тезисов, на которых стояло – с его точки зрения – сконцентрировать наибольшее внимание. Он делал эту незаметную, но очень важную работу в высшей мере тактично, и у Гитлера ни разу не шевельнулось и мысли, что программные речи за него пишет другой человек, – он воспринимал работу Бормана как секретарскую, но необходимую и своевременную. И когда однажды Борман захворал, Гитлер почувствовал, что у него все валится из рук.

Когда военные или министр промышленности Шпеер готовили доклад, в котором фюреру преподносилась препарированная правда, Борман либо находил возможность доклад этот положить под сукно, либо в дружеской и доверительной беседе с Йодлем или со Шпеером уговаривал их смягчить те или иные факты.

– Давайте побережем его нервы, – говорил он, – этот суррогат горечи можем и должны знать мы, но зачем же травмировать фюрера?

Он был косноязычен, но зато умел прекрасно составлять деловые бумаги; он был умен, но скрывал это под личиной грубоватого, прямолинейного простодушия; он был всемогущ, но умел вести себя как простой смертный, который «должен посоветоваться», прежде чем принять мало-мальски ответственное решение...

Именно к этому человеку, к Мартину Борману, с секретной почтой из СД под грифом «Сов. секретно, вскрыть лично» попало письмо следующего содержания:

«Партайгеноссе Борман! За спиной фюрера известные мне люди начинают вести игру с представителями прогнивших западных демократий в Швеции и Швейцарии. Это делается во время тотальной войны, это

делается в дни, когда на полях сражений решается будущее мира. Являясь офицером СД, я смог бы информировать Вас о некоторых подробностях этих предательских переговоров. Мне нужны гарантии, поскольку, попади это мое письмо в аппарат СД, я буду немедленно уничтожен. Именно поэтому я не подписываюсь. Я прошу Вас, если мое сообщение Вам представляется важным, приехать завтра к отелю "Нойе Тор" к 13.00. Преданный фюреру член СС и НСДАП».

Борман долго сидел с этим письмом в руках. Он думал позвонить к шефу гестапо Мюллеру. Он знал, как Мюллер ему обязан. Мюллер, старый сыщик, два раза в начале тридцатых годов громил баварскую организацию национал-социалистской партии. Потом он перешел на службу этой партии, когда она стала государственной партией Германии. До 1939 года шеф гестапо был беспартийным: коллеги в службе безопасности не могли ему простить усердия во время Веймарской республики. Борман помог ему вступить в ряды партии, дав за него гарантии лично фюреру. Но Борман никогда не подпускал к себе Мюллера слишком близко, присматривался к Мюллеру, взвешивая шансы: если уж приближать его – то до конца, посвящая в святая святых. Иначе игра не стоит свеч.

«Что это? – думал Борман, в десятый раз рассматривая письмо. – Провокация? Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет – это похоже на правду... А если он из гестапо и если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля – все возможно... Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу спокойно, без оглядки на этого негодяя, перевести все партийные деньги в нейтральные банки на имена моих, а не его людей...»

Борман долго размышлял над этим письмом, но к определенному решению так и не пришел.

Айсман включил магнитофон. Он неторопливо курил, внимательно вслушиваясь в чуть глуховатый голос Штирлица.

«– Скажите, вам было страшно эти два месяца. Проведенные в нашей тюрьме?»

– Мне было страшно все эти одиннадцать лет вашего пребывания у власти.

– Демагогия. Я спрашиваю: вам было страшно то время, которое вы провели у нас в камере, в тюрьме?»

– Разумеется.

– Разумеется. Вам бы не хотелось попасть сюда еще раз, если предположить чудо? Если мы вас выпустим?»

– Нет. Мне вообще не хотелось бы иметь с вами дела.

– Прекрасно. Но если я поставлю условием вашего освобождения сохранение со мной добрых отношений, чисто человеческих?»

– Чисто человеческие добрые отношения с вами для меня будут просто естественным проявлением моего отношения к людям. В той степени, в какой вы будете приходить ко мне как человек, а не как функционер национал-социалистской партии, вы и будете для меня человеком.

– Но я буду приходить к вам как человек, который спас вам жизнь.

– Вы хотите помочь мне по внутреннему свободному влечению или строите какой-то расчет?»

– Я строю на вас расчет.

– В таком случае, я должен убедиться, что цель, которую вы преследуете, добрая.

– Считайте, что мои цели избыточно честны.

– Что вы будете просить меня сделать?

– У меня есть приятели – люди науки, партийные функционеры, военные, журналисты – словом, личности. Мне было бы занятно, если бы вы, если мне удастся, конечно, уговорить начальство освободить вас, побеседовали с этими людьми. Я не буду у вас просить отчета об этих беседах. Я, правда, не отвечаю за то, что не будут поставлены диктофоны в соседней комнате, но вы можете пойти в лес, поговорить там. Мне просто будет интересно потом спросить ваше мнение о той степени зла или той мере добра, которые определяют этих людей. Такую дружескую услугу вы смогли бы оказать?

– Допустим... Но у меня уже возникает масса вопросов о том, почему я слышу такого рода предложение.

– А вы спрашивайте.

– Либо вы чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки в том, в чем не можете просить поддержки ни у кого, либо вы меня провоцируете. Если вы меня провоцируете, то наш разговор пойдет по кругу.

– То есть?

– То есть мы опять не найдем общего языка. Вы останетесь функционером, а я – человеком, который выбирает посильный путь, чтобы не стать функционером.

– Что вас убедит в том, что я вас не провоцирую?

– Только взгляд в глаза.

– Будем считать, что мы с вами обменялись верительными грамотами».

– Поднимите мне справку о поведении пастора в тюрьме, – попросил Айсман, кончив прослушивать пленку. – Все о его манере поведения, о контактах, разговоры с другими заключенными... Словом, максимум подробностей.

...Ответ, который ему приготовили через час, оказался в высшей мере неожиданным. Оказывается, в январе 1945 года пастор Шлаг был из тюрьмы освобожден. Из дела нельзя было понять, дал ли он согласие работать на СД или его освобождение явилось следствием каких-то иных, непонятных причин. Была только директива Шелленберга выпустить Шлага под наблюдением Штирлица. И все.

Еще через полчаса ему принесли последний документ: со Шлагом после освобождения работал специальный агент VI управления Клаус.

– Где его материалы? – спросил Айсман.

– Он был на прямой связи со штандартенфюрером Штирлицем.

– Что, записей не осталось?

– Нет, – ответили ему из картотеки, – записи в интересах операции не велись...

– Найдите мне этого агента, – попросил Айсман. – Но так, чтобы об этом знали только три человека: вы, я и он...

27.2.1945 (12 часов 01 минута)

На встречу с Борманом – а Штирлиц очень надеялся, что эта встреча состоится: насадка на крючок была вкусной, – он ехал медленно, кружа по улицам, перепроверя на всякий случай, нет ли за ним хвоста. Эту проверку он устроил машинально; ничто за последние дни не казалось ему тревожным, и ни разу он не просыпался среди ночи, как бывало раньше, когда он

всем существом своим чувствовал тревогу. Он тогда подолгу лежал с открытыми глазами, не включая света, и тщательно анализировал каждую свою минуту, каждое слово, произнесенное в беседе с любым человеком, даже с молочником, даже со случайным попутчиком в вагоне метро. Штирлиц старался ездить только на машине – избегал случайных контактов. Но он считал, что вообще изолировать себя от мира тоже глупо, мало ли какое задание могло прийти. Вот тогда резкая смена поведения могла насторожить тех, кто наблюдал за ним, а уж то, что в рейхе за каждым наблюдали, – это Штирлиц знал наверняка.

Он тщательно продумывал все мелочи: люди его профессии обычно сгорали на пустяках. Именно отработка мелочей дважды спасала его от провала.

...Штирлиц машинально посмотрел в зеркальце и удивленно присвистнул: тот «вандерер», что пристроился за ним на Фридрихштрассе, продолжал неотступно идти следом. Штирлиц резко нажал на педаль акселератора – «хорьх» сильно взял с места. Штирлиц понесся к Александерплац, потом повернул к Бергштрассе, мимо кладбища вывернул на Ветераненштрассе, оглянулся и понял, что хвост – если это был хвост – отстал. Штирлиц сделал еще один контрольный круг, проехал мимо своего любимого ресторанчика «Грубый Готлиб» и здесь – время у него еще было – остановился.

«Если они снова прицепятся, – подумал он, – значит, что-то случилось. А что могло случиться? Сейчас сядем, выпьем коньяку и подумаем, что могло случиться...»

Он очень любил этот старинный кабачок. Он назывался «Грубый Готлиб» потому, что хозяин, встречая гостей, говорил всем – вне зависимости от рангов, чинов и положения в обществе:

– Чего приперся, жирный боров? И бабу с собой привел – ничего себе... Пивная бочка, туша старой коровы, вымя больной жирафы, а не баба! Сразу видно, жена! Небось вчера с хорошенькой тварью приходил! Буду я тебя покрывать, – пояснял он жене гостя, – так я тебя и стану покрывать, собака паршивая...

Постепенно Штирлиц стал замечать, что наиболее уважаемых клиентов Грубый Готлиб ругал особенно отборными ругательствами: в этом, вероятно, тоже сказывалось уважение – уважение наоборот.

Готлиб встретил Штирлица рассеянно:

– Иди, жри пиво, дубина...

Штирлиц пожал ему руку, сунул две марки и сел к крайнему дубовому столику, за колонной, на которой были написаны ругательства мекленбургских рыбаков – соленые и неумноциничные. Это особенно нравилось стареющим женам промышленников.

«Что могло случиться? – продолжал думать он, попивая свой коньяк. – Связи я не жду – отсюда провала быть не может. Старые дела? Они не успевают управляться с новыми – саботаж растет, такого саботажа в Германии не бывало. Эрвин... Стоп. А что, если они нашли передатчик?»

Штирлиц достал сигареты, но именно потому, что ему очень хотелось крепко затянуться, он не стал курить вовсе.

Ему захотелось сейчас же поехать к развалинам дома Эрвина и Кэт.

«Я сделал главную ошибку, – понял он. – Я должен был сам обшарить все больницы: вдруг они ранены? Телефонам я зря поверил. Этим я займусь сразу после того, как поговорю с Борманом... Он должен прийти ко мне: когда их жмут, они делаются демократичными. Они бывают недоступными, когда им хорошо, а если они чувствуют конец, они становятся трусливыми, добрыми демократичными. Сейчас я должен отложить все остальное, даже Эрвина и Кэт. Сначала я должен договориться с этим палачом».

Он вышел, сел за руль и не спеша поехал на Инвалиденштрассе, к музею природоведения. Туда, к отелю «Нойе Тор», скоро должен приехать Борман.

Штирлиц сегодня был в штатском, он надел к тому же свои дымчатые очки в большой роговой оправе и низко на лоб напялил берет – так что издали его трудно было узнать. При входе в музей, в вестибюле, был установлен огромный малахит с Урала и аметист из Бразилии. Штирлиц всегда подолгу стоял возле аметиста, но любовался он уральским самоцветом.

Потом он неторопливо прошел через громадный зал с выбитыми стеклами: там был макет диловинного динозавра. Отсюда он мог наблюдать за площадью перед музеем и за отелем. Нет, все было спокойно и тихо, даже слишком спокойно и тихо. Штирлиц был в музее один – сейчас это играло против него.

Он остановился возле занятого экспоната: тринадцать стадий развития черепа. Череп № 8 – павиан, № 9 – гиббон, № 10 – орангутанг, № 11 – горилла, № 12 – шимпанзе, № 13 – человек.

«Почему тринадцатый – человек? Все против человека, даже цифры, – хмыкнул он про себя. – Хоть бы двенадцатый был или четырнадцатый. А нет, на тебе – именно тринадцатый... Кругом обезьяны, – продолжал думать он, задержавшись возле чучела гориллы Бобби. – Почему обезьяны окружены такой заботой, а?»

На планочке была надпись: «Горилла Бобби привезена в Берлин 29 марта 1928 года в возрасте трех лет. Умерла 1 августа 1935 года, 1,72 метра высоты и 266 килограммов веса».

«А незаметно, – думал Штирлиц, в который раз уже разглядывая чучело, – вроде и не жирная. Я выше ее, а вешу семьдесят два».

Штирлиц услышал шум многих голосов и шаги – много гулких шагов. «Облава!» Но потом он услышал детские голоса и обернулся: учительница в старых, стоптанных, начищенных до блеска мужских ботинках привела учеников – видимо, шестого класса – проводить здесь урок ботаники. Ребята смотрели на экспонаты очарованно и не шумели, и быстрый шепот их был из-за этого тревожен.

Штирлиц смотрел на детей. Глаза их были лишены детского, прекрасного озорства. Они слушали учительницу сосредоточенно, очень взросло.

«Какое же проклятие висит над этим народом? – подумал Штирлиц. – Как могло статься, что бредовые идеи обрекли детей на этот голодный, стариковский ужас? Почему нацистам, спрятавшимся в бункеры, где запасы шоколада, сардин и сыра, удалось выставить своим заслоном хрупкие тела этих мальчуганов? И – самое страшное, – как воспитали в этих детях слепую уверенность, что высший смысл жизни – это смерть за идеалы фюрера?»

Он вышел через запасный выход пять минут второго. Никого возле отеля не было. Задами Штирлиц пробрался к Шпрее, сделал круг, сел в машину и поехал к себе – в СД. Хвоста за собой он не увидел и на обратном пути.

«Тут что-то не так, – сказал он себе. – Что-то вышло странное. Если бы ждал Борман, я бы не мог не заметить».

...А Борман не мог уйти из бункера: фюрер произносил речь, и в зале было много людей, а он стоял сзади, чуть левее фюрера. Он не мог уйти во время речи фюрера. Это было бы безумием. Он хотел уйти, он решил увидеть того человека, который писал ему. Но он вышел из бункера только в три часа.

«Как же мне найти его? – думал Борман. – Я ничем не рискую, встретившись с ним, но я рискую, отказываясь от встречи».

«Д-8 – Мюллеру.

Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре.

Автомобиль марки “хорьх”, номерной знак ВКР-821, оторвался от наблюдения в районе Ветераненштрассе. Судя по всему, водитель заметил машину наблюдения. Памятуя ваши указания, мы не стали преследовать его, хотя форсированный мотор позволял нам это сделать. Передав службе

Н-2 сообщение о направлении, в котором поехал “хорьх” ВКР-821, мы вернулись на базу».

«В-192 – Мюллеру.

Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре.

Приняв наблюдение за машиной марки “хорьх”, номерной знак ВКР-821, мои сотрудники установили, что владелец этого автомобиля в 12.27 вошел в здание музея природоведения. Поскольку мы предупреждены о высокой профессиональной подготовленности объекта наблюдения, я принял решение не “вести” его по музею одним или двумя “посетителями”. Мой агент Ильзе получила задание привести своих учеников из средней школы для проведения урока в залах, музея. Данные наблюдения Ильзе позволяют с полной убежденностью сообщить, что объект ни с кем из посторонних в контакт не входил. Графический план экспонатов, возле которых объект задерживался дольше, чем у других, прилагаю. Объект покинул помещение через запасный выход, которым пользуются работники музея, в 13.05».

27.2.1945 (15 часов 00 минут)

Мюллер спрятал донесения в папку и поднял трубку телефона.

– Мюллер слушает.

– «Товарища» Мюллера приветствует «товарищ» Шелленберг, – пошутил начальник политической разведки. – Или вас больше устраивает обращение «мистер»?

– Меня больше всего устраивает обращение «Мюллер», – сказал шеф гестапо. – Категорично, скромно и со вкусом. Я слушаю вас, дружище.

Шелленберг прикрыл трубку телефона ладонью и посмотрел на Штирлица. Тот сказал:

– Да. И сразу в лоб. А то он уйдет, он как лис...

– Дружище, – сказал Шелленберг, – ко мне пришел Штирлиц, вы, может быть, помните его... Да? Тем более. Он в определенной растерянности: либо за ним следят преступники, а он живет в лесу один; либо ему на хвост сели ваши люди. Вы не помогли бы разобраться в этом деле?

– Какой марки его автомобиль?

– Какой марки ваш автомобиль? – снова закрыв трубку ладонью, спросил Шелленберг.

– «Хорьх».

– Не закрывайте вы ладонью трубку, – сказал Мюллер, – пусть возьмет трубку Штирлиц.

– Вы что, всевидящий? – спросил Шелленберг.

Штирлиц взял трубку и сказал:

– Хайль Гитлер!

– Добрый день, дружище, – ответил Мюллер. – Номерной знак вашей машины случаем не ВКР-821?

– Именно так, обергруппенфюрер...

– Где они сели к вам на хвост? На Курфюрстендам?

– Нет. На Фридрихштрассе.

– Оторвались вы от них на Ветераненштрассе?

– Так точно.

Мюллер засмеялся:

– Я им головы посворачиваю – тоже мне, работа! Не волнуйтесь, Штирлиц, за вами шли не преступники. Живите спокойно в своем лесу. Это были наши люди. Они водят «хорьх»,

похожий на ваш... Одного южноамериканца. Продолжайте жить, как жили, но если мне, паче чаяния, спутав вас снова с южноамериканцем, донесут, что вы посещаете «Цыгойнакеллер» на Кудам, я покрывать вас не стану...

«Цыгойнакеллер» – «Цыганский подвал» – маленький кабак, куда было запрещено ходить военным и членам партии.

– А если мне надо там бывать по делам работы? – спросил Штирлиц.

– Все равно, – усмехнулся Мюллер, – если хотите назначать встречи своим людям в клоаках, лучше ходите в «Мехико».

Это был «хитрый» кабак Мюллера, в нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Тот, конечно, не имел права говорить об этом: был издан специальный циркуляр, запрещающий посещать «Мехико-бар» членам партии и военным, поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что столик прослушивается гестапо.

– Тогда – спасибо, – ответил Штирлиц. – Если вы мне дадите санкцию, я буду назначать встречи моим людям именно в «Мехико». Но если меня возьмут за жабры – я приду к вам за помощью.

– Приходите. Всегда буду рад видеть вас. Хайль Гитлер!

Штирлиц вернулся к себе со смешанным чувством: он в общем-то поверил Мюллеру, потому что тот играл в открытую. Но не слишком ли в открытую? Чувство меры – вопрос вопросов любой работы. В разведке – особенно. Порой даже чрезмерная подозрительность казалась Штирлицу менее безопасной, чем избыточная откровенность.

Мюллеру.

Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре.

Сегодня в 19.42 объект вызвал служебную машину ВКН-441. Объект попросил шофера отвезти его к остановке метро «Миттльплац». Здесь он вышел из машины. Попытка обнаружить объект на других станциях оказалась безуспешной.

Вернер.

Мюллер спрятал это донесение в свою потрепанную папку, где лежали наиболее секретные и важные дела, и снова вернулся к изучению материалов по Штирлицу. Он отметил красным карандашом то место, где сообщалось, что все свободное время объект любит проводить в музеях, назначая там свидания своим агентам.

Мера доверия

Обергруппенфюрер СС Карл Вольф передал письмо личному пилоту Гиммлера.

– Если вас сожгут, – сказал он своим мягким голосом, – на войне как на войне, все может быть, вы обязаны это письмо сжечь еще до того, как отстегнете лямки парашюта.

– Я не смогу сжечь письмо до того, как отстегну лямки парашюта, – ответил педантичный пилот, – оттого, что меня будет тащить по земле. Но первое, что я сделаю, отстегнув лямки, так это сожгу письмо.

– Хорошо, – улыбнулся Вольф, – давайте согласимся на этот вариант. Причем вы обязаны сжечь это письмо, даже если вас подобьют над рейхом.

У Карла Вольфа были все основания опасаться: попади его письмо в руки любого другого человека, кроме Гиммлера, – и судьба его была бы решена.

Через семь часов письмо было распечатано Гиммлером.

Рейхсфюрер!

Сразу по возвращении в Италию я начал разрабатывать план выхода на Даллеса. Данные, которыми я здесь располагал, позволили мне сделать главный вывод: союзников так же, как и нас, тревожит реальная перспектива создания в Северной Италии коммунистического правительства. Даже если такое правительство будет создано чисто символически, Москва получит прямой путь к Ла-Маничу – через коммунистов Тито, с помощью итальянских коммунистических вождей и Мориса Тореза. Таким образом, возникает близкая угроза создания «пояса большевизма» от Белграда, через Геную – в Канны и Париж.

Моим помощником в операции стал Эуген Дольман: его мать, кстати говоря итальянка, имеет самые широкие связи среди высшей аристократии, настроенной прогермански, но антинацистски. Однако для меня понятия «Германия» и «национал-социализм» неразделимы и, поскольку германофильские настроения фрау Дольман преобладают над остальными, я считал целесообразным привлечь Эугена для разработки деталей операции, считая, что связи его матери могут нам пригодиться в плане соответствующей обработки союзников.

Я решил, и Дольман взялся, через итальянские каналы, проинформировать Даллеса, что смысл возможных переговоров заключается в том, чтобы Запад смог взять под контроль всю Северную Италию до того, как хозяевами положения окажутся коммунисты. Причем мы считали, что инициатива должна исходить не от нас: мне казалось более целесообразным, чтобы союзники смогли «узнать» об этих моих настроениях через свои агентурные возможности. Поэтому я дал санкцию Дольману на проведение следующей операции: по сводкам гестапо, младший офицер танковых войск СС Гидо Циммер был замечен в неоднократных беседах с итальянцами о том, что война проиграна и положение безнадежно. На дружеской вечеринке, куда «случайно» попал Дольман, он, уже под утро, когда было много выпито, сказал Циммеру, что утомлен этой проклятой, бесцельной войной. Агентурная разработка позволила мне установить, что уже на следующий день Циммер в беседе с бароном Луиджи Парилли сказал, что если Дольман говорит о проклятии войны, то, значит, так же думает и Карл Вольф, а в руках Вольфа судьба всей Северной Италии и всех немецких

войск, расквартированных здесь. Луиджи Парилли в прошлом являлся представителем американской компании «Кэлвилэйшн корпорейшн», и его контракты с Америкой здесь широко известны, хотя он всегда поддерживал режим дуче. При этом его тесть – крупный ливанский банкир, связанный как с британским, так и с французским капиталом. Беседа Циммера с Парилли оказалась достаточным поводом для того, чтобы Дольман, пригласив Гидо Циммера на конспиративную квартиру, выложил ему все собранные на него компрометирующие данные. «Этого хватит, чтобы сейчас же отправить вас на виселицу, – сказал он Циммеру, – спасти вас может только одно – честная борьба за Германию. А в этой борьбе важны и дипломатические, невидимые сражения». Словом, Циммер дал согласие работать на нас.

Назавтра Циммер, встретившись с бароном Парилли, сказал ему, что только вождь СС в Италии Вольф может спасти Северную Италию от коммунистической угрозы, которую несут с собой партизаны, орудующие в горах и городах всей страны, но, естественно, если бы он действовал вместе с союзниками, это можно было бы сделать стремительно и наверняка. Барон Парилли, имеющий крупные финансовые интересы в Турине, Генуе и Милане, выслушал Циммера с большим интересом и взялся помочь нам в налаживании подобного рода контактов с западными союзниками. Естественно, Циммер написал рапорт об этой беседе на мое имя, и, таким образом, вся операция была с того момента подстрахована, ей был придан вид игры с союзниками, проводимой под контролем СС в интересах фюрера и рейха.

21 февраля барон Парилли выехал в Цюрих. Там он связался со своим знакомым Максом Гюсманом. Он помог установить контакт с майором Вайбелем, кадровым офицером швейцарской разведки. Вайбель мотивировал свое согласие помочь в установлении контактов между СС и американцами исходя из эгоистических интересов подданного Швейцарии: дело заключается в том, что Генуя – это порт, используемый главным образом швейцарскими фирмами. Попади Италия под коммунистическое иго – пострадают и швейцарские фирмы. При этом я смог установить, что майор Вайбель получил образование в Германии, окончив университеты Базеля и Франкфурта.

В беседе с бароном Парилли Вайбель сказал, что следует соблюдать максимальную осторожность, поскольку он рискует, помогая налаживанию контактов. Это, сказал он, нарушает нейтралитет Швейцарии, а сейчас позиция русских так сильна, что нарушение тайны заставит его правительство отмежеваться от него и сосредоточить весь возможный удар персонально на нем. Парилли заверил майора Вайбеля, что в разглашении тайны не заинтересован никто, кроме русских или коммунистов. «А поскольку, – продолжал он, – среди нас, я надеюсь, нет ни одного коммуниста, а тем более русского, можно не опасаться за утечку информации».

Как сообщил Вайбель, назавтра после беседы с Парилли он пригласил на обед Аллена Даллеса и его помощника Гевеинца. «У меня есть два приятеля, которые выдвигают интересную идею, – сказал он, – если вы хотите, я могу вас познакомить». Даллес ответил, что он хотел бы встретиться с товарищами Вайбеля позже – после того, как с ними побеседует его помощник.

Состоялась беседа между Парилли и Гевеинцем. Я Вам сообщал уже, что этот Гевеинц является сыном не Эгона Гевеинца, но Герхарда фон

Шуль-Геверница, профессора экономики Берлинского университета. Поехав в Америку после защиты докторской диссертации во Франкфурте (я, кстати, задумался, не был ли установлен первый контакт между Вайбелем и Геверницей еще в Германии, оба они закончили один и тот же университет), он начал работать в международных банковских концернах в Нью-Йорке, где тогда же подвизался Аллен Даллес.

Во время беседы Парилли задал вопрос: «Готовы ли вы встретиться со штандартенфюрером СС Дольманом для более конкретного обсуждения этой и ряда других проблем?» Геверниц ответил согласием на это предложение, хотя, по мнению Парилли, он отнесся к высказанному им предложению с определенной недоверчивостью и подозрительностью, свойственной интеллигентам, пришедшим в разведку.

Я дал санкцию на поездку Дольмана в Швейцарию. Там, на озере Чиасо, он был встречен Гюсманом и Парилли. Когда они прибыли в Лугано, в маленький ресторан «Бьянки», Дольман, как и было обговорено, заявил: «Мы хотим переговоров с западными союзниками для того, чтобы сорвать план Москвы по созданию коммунистического правительства Северной Италии. Эта задача заставляет нас отбросить прежние обиды и думать о завтрашнем дне, зачеркнув всю взаимную боль дня вчерашнего. Мир должен быть справедливым и достойным».

Гюсман ответил, что единственно возможные переговоры – это переговоры о безоговорочной капитуляции.

«Я не пойду на предательство, – сказал Дольман, – да и никто в Германии не пойдет на это».

Гюсман, однако, настаивал на концепции «безоговорочной капитуляции», но разговора не прекращал, несмотря на твердо отрицательную позицию, занятую Дольманом согласно той партитуре, которую мы с ним предварительно расписали.

Далее, перебив Гюсмана, в беседу включился помощник А. Даллеса Поль Блюм. Именно Блюм передал Дольману фамилии двух руководителей итальянского Сопротивления: Ферручи Парри и Усмияни. Эти люди находятся в нашей тюрьме. Они не являются коммунистами, и это дало нам возможность сделать вывод: американцы так же, как и мы, озабочены коммунистической угрозой Италии. Им нужны герои Сопротивления некоммунисты, которые смогли бы в нужный момент возглавить правительство, верное идеалам Запада.

«Если эти люди будут освобождены и привезены в Швейцарию, – сказал представитель Даллеса, – мы могли бы продолжить наши встречи».

Когда Дольман вернулся ко мне, я понял, что переговоры начались, ибо никак иначе нельзя истолковать просьбу об освобождении двух итальянцев. Дольман высказал предположение, что Даллес ждет моего прибытия в Швейцарию. Я отправился к фельдмаршалу Кессельрингу. В результате пятичасовой беседы я сделал вывод, что фельдмаршал согласится на почетную капитуляцию, хотя никаких прямых заверений Кессельринг не давал, вероятно, в силу традиционного опасения говорить откровенно с представителем службы безопасности.

Назавтра Парилли посетил меня на конспиративной квартире возле озера Гарда и передал мне от имени Даллеса приглашение на совещание в Цюрих. Таким образом, послезавтра я отправляюсь в Швейцарию. В случае,

если это ловушка, я выдвину официальную версию о похищении. Если же это начало переговоров – я буду информировать вас следующим письмом, которое отправлю сразу же по возвращении в свою ставку.

Ваш Карл Вольф.

* * *

«Пергамон» разбомбили англичане, но профессор Плейшнер не стал эвакуироваться со всеми научными сотрудниками. Он испросил себе разрешение остаться в Берлине и быть хранителем хотя бы той части здания, которая уцелела.

Именно к нему сейчас и поехал Штирлиц.

Плейшнер ему очень обрадовался, утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник.

– Вы тут не мерзнете?

– Мерзну до полнейшего окования. А что прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет, хотел бы я знать? – ответил Плейшнер.

– В бункере у фюрера очень жарко топят...

– Ну, это понятно... Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы, каждый о себе, а он думает обо всех немцах.

Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал: ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись крепкой сигаретой, он сказал:

– Будет вам, профессор... Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь, в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой...

Лицо Плейшнера сделалось мучнисто-белым, и Штирлиц пожалел, что сказал все это, и пожалел, что он вообще пришел к несчастному старику со своим делом. «Хотя почему это мое дело? – подумал он. – Больше всего это их, немцев, дело и, следовательно, его дело».

– Ну, – сказал Штирлиц, – отвечайте же... Вы не согласны со мной?

Профессор по-прежнему молчал.

– Так вот, – сказал Штирлиц, – ваш брат и мой друг помогал мне. Вы никогда не интересовались моей профессией: я штандартенфюрер СС и работаю в разведке.

Профессор всплеснул руками, словно закрывая лицо от удара.

– Нет! – сказал он. – Нет и еще раз нет! Мой брат никогда не был и не мог быть провокатором! Нет! – повторил он уже громче. – Нет! Я вам не верю!

– Он не был провокатором, – ответил Штирлиц, – а я действительно работаю в разведке. В советской разведке...

И он протянул Плейшнеру письмо. Это было предсмертное письмо его брата:

«Друг. Спасибо тебе за все. Я многому научился у тебя. Я научился тому, как надо любить и во имя этой любви ненавидеть тех, кто несет народу Германии рабство. Плейшнер».

– Он написал так, опасаясь гестапо, – пояснил Штирлиц, забирая письмо. – Рабство немецкому народу, как вы сами понимаете, несут орды большевиков и армады американцев. Их-то, большевиков и американцев, мы и обязаны, как учит ваш брат, ненавидеть... Не так ли?

Плейшнер долго молчал, забившись в громадное кресло.

– Я аплодирую вам, – сказал он наконец, – я понимаю... Вы можете положиться на меня во всем. Но я должен сказать вам сразу: как только меня ударят плетью по ребрам, я скажу все.

– Я знаю, – ответил Штирлиц. – Что вы предпочитаете: моментальную смерть от яда или пытки в гестапо?

- Если не дано третьего, – улыбнулся Плейшнер своей неожиданно беззащитной улыбкой, – естественно, я предпочитаю яд.
- Тогда мы сварим кашу, – улыбнулся Штирлиц, – хорошую кашу...
- Что я должен сделать?
- А ничего. Жить. И быть готовым в любую минуту к тому, чтобы сделать необходимое.

7.3.1945 (22 часа 03 минуты)

- Добрый вечер, пастор, – сказал Штирлиц, быстро затворяя за собой дверь. – Простите, что я так поздно. Вы уже спали?
- Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это не тревожит вас; входите, пожалуйста, сейчас я зажгу свечи. Присаживайтесь.
- Спасибо. Куда позволите?
- Куда угодно. Здесь теплее, у кафеля. Может быть, сюда?
- Я сразу простужаюсь, если выхожу из тепла в холод. Всегда лучше одна, постоянная температура. Пастор, кто у вас жил месяц тому назад?
- У меня жил человек.
- Кто он?
- Я не знаю.
- Вы не интересовались, кто он?
- Нет. Он просил убежища, ему было плохо, и я не мог ему отказать.
- Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы спорили с ним как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он им никогда не был. Он мой агент, он провокатор гестапо.
- Ах, вот оно что... Я говорил с ним как с человеком. Не важно, кто он: коммунист или ваш агент. Он просил спасения. Я не мог отказать ему.
- Вы не могли ему отказать, – повторил Штирлиц, – и вам не важно, кто он: коммунист или агент гестапо... А если из-за того, что вам важен «просто человек», абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу – это для вас важно?!
- Да, это важно для меня...
- А если – еще более конкретно – на виселицу первыми попадут ваша сестра и ее дети – это для вас важно?
- Это же злодейство!
- Говорить, что вам не важно, кто перед вами – антифашист или агент гестапо, – еще большее злодейство, – ответил Штирлиц, садясь. – Причем ваше злодейство догматично, а поэтому особенно страшно. Сядьте. И слушайте меня. Ваш разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я делал, это все делал он. Я не знаю, что с ним: он прислал мне странное письмо. И потом, без пленки, которую я уничтожил, ему не поверят. С ним вообще не станут говорить, ибо он мой агент. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересечете границу Швейцарии.
- Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии.
- Вы пересечете ее, а я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности.
- Вы словно оборотень... Как я могу верить вам, если у вас столько лиц?
- Вам ничего другого не остается, пастор. И вы поедете в Швейцарию хотя бы для того, чтобы спасти жизнь своих близких. Или нет?
- Да. Я поеду. Чтобы спасти им жизнь.
- Отчего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Вы откажетесь ехать туда, если я поручу вам взорвать кирху, не так ли?

– Вы умный человек. Вы, вероятно, точно рассчитали, что в моих силах и что выше моих сил...

– Правильно. Вам жаль Германию?

– Мне жаль немцев.

– Хорошо. Кажется ли вам, что мир – не медля ни минуты – это выход для немцев?

– Это выход для Германии...

– Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества.

Нам погибать не страшно – мы отжили свое, и потом, мы одинокие стареющие мужчины. А дети?

– Я слушаю вас.

– Кого вы сможете найти в Швейцарии из ваших коллег по движению пацифистов?

– Диктатуре понадобились пацифисты?

– Нет, диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, понимая, что каждый новый день войны – это новые жертвы.

– Гитлер пойдет на переговоры?

– Гитлер на переговоры не пойдет. На переговоры пойдут иные люди. Но это преждевременный разговор. Сначала мне нужно иметь гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые обладают достаточным весом. Нужны люди, которые смогут помочь вам вступить в переговоры с представителями западных держав. Кто может помочь вам в этом?

Пастор пожал плечами:

– Фигура президента Швейцарской республики вас устроит?

– Нет. Это официальные каналы. Я имею в виду деятелей церкви, которые имеют вес в мире.

– Все деятели церкви имеют вес в этом мире, – сказал пастор, но, увидев, как снова дрогнуло лицо Штирлица, быстро добавил: – У меня там много друзей. Было бы наивностью с моей стороны обещать что-либо, но я думаю, мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными людьми. Брюнинг, например... Его уважают... Однако меня будут спрашивать, кого я представляю.

– Немцев, – коротко ответил Штирлиц. – Если вас спросят, кто конкретно намерен вести переговоры, вы спросите: «А кто конкретно поведет их со стороны Запада?» Но это через связь, которую я вам дам...

– Через что? – не понял пастор.

Штирлиц улыбнулся и пояснил:

– Все детали мы еще оговорим... Пока нам важна принципиальная договоренность.

– А где гарантия, что сестра и ее дети не попадут на виселицу?

– Я освободил вас из тюрьмы?

– Да.

– Как вы думаете, это было легко?

– Думаю, что нет.

– Как вы думаете, имея на руках запись вашего разговора с провокатором, мог бы я послать вас в печь?

– Бесспорно.

– Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности. До тех пор, естественно, пока вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах.

– Вы угрожаете мне?

– Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать для того, чтобы спасти вас и вашу сестру.

– Когда все это должно произойти?

– Скоро. И последнее: кто бы ни спросил вас о нашем разговоре...

– Я стану молчать.
– Даже если вас будут спрашивать об этом под пыткой?
– Я буду молчать.
– Хочу вам верить...
– Кто из нас двоих сейчас больше рискует?
– Как вам кажется?
– Мне кажется, что больше рискуете вы.
– Правильно.
– Вы искренни в желании найти мир для немцев?
– Да.
– Вы недавно пришли к этой мысли: дать мир людям?
– Да как вам сказать, – ответил Штирлиц, – трудно ответить до конца честно, пастор. И чем честнее я отвечу, тем большим лжецом, право слово, могу вам показаться.
– В чем будет состоять моя миссия более конкретно? Я ведь не умею воровать документы и стрелять из-за угла...

– Во-первых, – усмехнулся Штирлиц, – этому недолго научиться. А во-вторых, я не требую от вас умения стрелять из-за угла. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-то или такого-то своего представителя – имя я вам назову позже – провоцирует Запад. Вы объясните, что люди Гиммлера не могут хотеть мира, вы докажете своим друзьям, что эти люди – провокаторы, лишённые веса и уважения, даже в СС. Вы скажете, что вести переговоры с такими людьми – не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите им, что это безумие – идти на переговоры с СС, с Гиммлером, что переговоры надо вести с иными людьми, и назовете им серьезные имена сильных и умных людей. Но это – после.

Перед тем как уйти, он спросил:

– Кроме вашей прислуги, в доме никого нет?
– Прислуги тоже нет дома, она уехала к родным в деревню.
– Можно осмотреть дом?
– Пожалуйста...

Штирлиц поднялся на второй этаж и посмотрел из-за занавески на улицу: центральная аллея маленького городка просматривалась отсюда вся. На аллее никого не было.

Через час Штирлиц приехал в бар «Мехико»: там он назначил встречу своему агенту, работавшему по вопросам сохранения тайны «оружия возмездия». Штирлиц хотел порадовать шефа гестапо – пусть завтра послушает разговор. Это будет хороший разговор умного нацистского разведчика с умным нацистским ученым: после ареста гестаповцами специалиста по атомной физике Рунге Штирлиц не забывал время от времени подстраховывать себя – и не как-нибудь, а обстоятельно и всесторонне.

8.3.1945 (09 часов 32 минуты)

– Доброе утро, фрау Кин. Как наши дела? Что маленький?
– Спасибо, мой господин. Теперь он начал покрикивать, и я успокоилась. Я боялась, что из-за моей контузии у него что-то с голосом. Врачи осмотрели его: вроде бы все в порядке.
– Ну и слава богу! Бедные дети... Такие страдания для малюток, только-только вступающих в мир! В этот грозный мир... А у меня для вас новости.
– Хорошие?
– В наше время все новости дурные, но для вас они скорее хорошие.
– Спасибо, – откликнулась Кэт. – Я никогда не забуду вашей доброты.
– Скажите, пожалуйста, как ваша головная боль?

– Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих приступов обморочной дурноты.

– Это симптомы сотрясения мозга.

– Да. Если бы не моя грива – мальчика не было б вовсе. Грива приняла на себя первый удар этой стальной балки.

– У вас не грива. У вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями?

– Да. Дядя присылал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни.

Кэт все поняла. Она перебрала в памяти вопросы, которые задавал ей «господин из страховой компании». Версия дяди из Стокгольма была надежной и проверенной. Она придумала несколько версий по поводу чемодана. Она знала, что это – самый трудный вопрос, которого она постарается сегодня избежать, сказавшись совсем больной. Она решила посмотреть «страхового агента» в деле. Шведский дядя – самое легкое. Пусть это будет обоюдным экзаменом. Главное – начать первой, посмотреть, как он поведет себя.

– Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме?

– Муж никогда не звонил туда.

Она еще не верила в то, что Эрвина больше нет. Она попросту не могла поверить в это. После первой истерики, когда она молча билась в рыданиях, старая санитарка сказала:

– Не надо, миленькая. У меня так было с сыном. Тоже думали, что погиб, а он лежал в госпитале. А сейчас прыгает без ноги, но – дома, в армию его не взяли. Значит, будет жить.

Кэт захотелось сразу же, немедленно переслать записку Штирлицу с просьбой узнать, что с Эрвином, но она понимала, что делать этого никак нельзя, хотя без связи со Штирлицем ей не обойтись. Поэтому она приказывала себе думать о том, как умно связаться со Штирлицем, который найдет Эрвина в госпитале, и все будет хорошо, и маленький будет гулять с Эрвином по Москве, когда все это кончится, и настанет теплое бабье лето с золотыми паутинками в воздухе, и березы будут желтые-желтые, высокие, чистые...

– Фирма, – продолжал человек, – поможет получить телефонный разговор с дядей, как только врачи позволят вам встать. Знаете, эти шведы – нейтралы, они богаты, и долг дяди – помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и его сердце дрогнет. Теперь вот что... Я договорился с руководством нашей компании, что мы выдадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы вашей страховки. Но нам необходимы имена двух гарантов.

– Кого?

– Двух людей, которые бы гарантировали... простите меня, но я всего-навсего чиновник, не сердитесь, – которые бы подтвердили вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно...

– Ну, кто же станет давать такую гарантию?

– Неужели у вас нет друзей?

– Таких? Нет, таких нет.

– Ну, хорошо. Знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые подтвердили бы нам, что знали вашего мужа.

– Знают, – поправила Кэт.

– Он жив?!

– Да.

– Где он? Он был здесь?

Кэт отрицательно покачала головой:

– Нет. Он в каком-нибудь госпитале. Я верю, что он жив.

– Я искал.

– Во всех госпиталях?

– Да.

– И в военных тоже?

– Почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь?

– Он инвалид войны... Офицер... Он был без сознания, его могли отвезти в военный госпиталь...

– Теперь я за вас спокоен, – улыбнулся человек. – У вас светлая голова, и дело явно идет на поправку. Назовите мне, пожалуйста, кого-либо из знакомых вашего супруга, я к завтрашнему дню уговорю этих людей дать гарантию.

Кэт чувствовала, как у нее шумело в висках. С каждым новым вопросом в висках шумело все больше и больше. Даже не шумело, а молотило каким-то тупым металлическим и громким молотом. Но она понимала, что молчать и не отвечать сейчас, после того как она все эти дни уходила от конкретных вопросов, было бы проигрышем. Она вспоминала дома на своей улице, особенно разрушенные. У Эрвина чинил радиолу генерал в отставке Нуш. Так. Он жил в Рансдорфе, это точно. Возле озера. Пусть спрашивают его.

– Попробуйте поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем. Он живет в Рансдорфе, возле озера. Он давний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он оказался добр к нам и сейчас.

– Фриц Нуш, – повторил человек, записывая это имя в свою книжечку, – в Рансдорфе. А улицу не помните?

– Не помню...

– В справочном столе могут не дать адреса генерала...

– Но он такой старенький. Он уже не воюет. Ему за восемьдесят.

– Голова-то у него варит?

– Что?

– Нет, нет. Просто я боюсь, у него склероз. Будь моя воля, я бы всех людей старше семидесяти насильно отстранял от работы и отправлял в специальные зоны для престарелых. От стариков все зло в этом мире.

– Ну что вы. Генерал так добр...

– Хорошо. Кто еще?

«Назвать фрау Корн? – подумала Кэт. – Наверное, опасно. Хотя мы ездили к ней отдыхать, но с нами был чемодан. Она может вспомнить, если ей покажут фото. А она была бы хорошей кандидатурой: муж майор СС...»

– Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Собственный дом возле ратуши.

– Спасибо. Это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами, фрау Кин. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж опознал среди найденных чемоданов два ваших. Завтра утром я приду вместе с ним, и мы при нем и при враче вскроем эти чемоданы: может быть, вы сразу же распорядитесь ненужными вещами, и я поменяю их на белье для нашего карапузика.

«Ясно, – подумала Кэт. – Он хочет, чтобы я сегодня же попыталась наладить связь с кем-то из друзей».

– Большое спасибо, – сказала она, – Бог оплатит вам за доброту. Бог никогда не забывает добра...

– Ну что ж... Желаю вам скорейшего выздоровления, и поцелуйте от меня вашего великана.

Вызвав санитарку, человек сказал ей:

– Если она попросит вас позвонить куда-либо или передаст записку, немедленно звоните ко мне – домой или на работу, не важно. И в любое время. В любое, – повторил он. – А если кто-нибудь придет к ней – сообщите вот сюда, – он дал ей телефон, – эти люди в трех минутах от вас. Вы задержите посетителя под любым предлогом.

Выходя из своего кабинета, Штирлиц увидел, как по коридору несли чемодан Эрвина. Он узнал бы этот чемодан из тысячи: в нем хранился передатчик.

Штирлиц рассеянно и неспеша пошел следом за двумя людьми, которые, весело о чем-то переговариваясь, занесли этот чемодан в кабинет штурмбаннфюрера Рольфа.

(Из партийной характеристика члена НСДАП с 1940 года Рольфа, штурмбаннфюрера СС (IV отдела РСХА): «Истинный ариец. Характер – нордический, отважный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отлитый спортсмен. Отличный семьянин. Связей, порочивших его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц какое-то мгновение прикидывал: зайти в кабинет к штурмбаннфюреру сразу же или попозже. Все в нем напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошел к Рольфу.

– Ты что, готовишься к эвакуации? – спросил он со смехом. Он не готовил эту фразу, она родилась в голове сама и, видимо, в данной ситуации была точной.

– Нет, – ответил Рольф, – это передатчик.

– Коллекционируешь? А где хозяин?

– Хозяйка. По-моему, хозяину как-то. А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе госпиталя «Шарите».

– С новорожденным?

– Да. И голова у стервы помята.

– Худо. Как ее допрашивать в таком состоянии?

– По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы канителемся, канителемся, ждем чего-то. Главное, наш болван из отделения показал ей фото чемоданов – вкуче с этим. Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей. Слава богу, сбежать она не может: у нее там ребенок, а в детское отделение никого не пускают. Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка... В общем-то, черт его знает. Я решил сегодня привезти ее сюда.

– Разумно, – согласился Штирлиц. – Пост там поставили? Надо же смотреть за возможными контактами.

– Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работником.

– Тогда стоит ли ее брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит искать связь?

– Я и сам на распутье. Боюсь, она очухается. Знаешь этих русских – их надо брать тепленькими и слабыми...

– Почему ты решил, что она русская?

– С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала.

Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери:

– Бери ее поскорей. Хотя... Может получится красивая игра, если она начнет искать контакты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам их люди?

– Эту версию мы до конца не отработывали...

– Дарю... Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров, и желаю удачи. – Около двери Штирлиц обернулся: – Это интересное дело. Главное здесь не переторопить. И советую: не докладывай большому начальству – они тебя заставят гнать работу.

Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся:

– Я стал склеротическим идиотом... Я ведь шел к тебе за снотворным. Все знают, что у тебя хорошее шведское снотворное.

Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, думал Штирлиц, если Рольфа спросят, кто к нему заходил

и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил хорошее шведское снотворное. Рольф снабжал половину управления снотворным – его дядя был аптекарь.

...А сейчас, после разговора с Рольфом, Штирлицу предстояло сыграть ярость. Он поднялся к Шелленбергу и сказал:

– Бригаденфюрер, мне лучше сказать больным, а я действительно болен, и попроситься на десять дней в санаторий – иначе я сдам...

Говоря это шефу разведки, он был бледен, до синевы бледен. И не потому только, что решалась судьба Кэт, а следовательно, и его судьба. Он понимал, что ей предстоит здесь: новорожденному на пятом часу допроса приставляют пистолет к затылку и обещают застрелить на глазах матери, если она не заговорит. Обычная провокация папаши Мюллера: никогда еще никому из детей они не стреляли в затылок. Жалость здесь ни при чем – люди Мюллера могли вытворять вещи похуже. Просто они понимали, что после этого мать сойдет с ума и вся операция провалится. Но действовал этот метод устрашения безотказно.

Лицо Штирлица сейчас стало сине-бледным не потому, что он понимал, какие ждут его муки, скажи Кэт о нем. Все проще: он играл ярость. Настоящий разведчик сродни актеру или писателю. Только если фальш в игре грозит актеру тухлыми помидорами, а неправда и отсутствие логики отомстят писателю презрительными усмешками читателей, то разведчику это обернется смертью.

– В чем дело? – удивился Шелленберг. – Что с вами?

– По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с хвостом на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчиком, видимо, работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь восемь месяцев, но отчего-то это дела попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре.

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке.

– Не надо, – сказал Штирлиц. – Ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф – для меня важнее всего дело, а не честолюбие.

– Поезжайте, – сказал Шелленберг, – а я все-таки позвоню рейхсфюреру.

– Лучше зайти к нему, – ответил Штирлиц. – Мне не очень-то нравится вся эта возня.

– Поезжайте, – повторил Шелленберг, – и делайте свое дело. А потом поговорим о пасторе. Он нам понадобится завтра-послезавтра.

– Я не могу разрываться между двумя делами.

– Можете. Разведчик или сдается сразу, или не сдается вовсе. За редким исключением он разваливается после применения специальных мер головорезами Мюллера. Вам все станет ясно в первые часы. Если эта дама будет молчать – передайте ее Мюллеру, пусть они разобьют себе лоб. Если она заговорит – запишем себе в актив и утрем нос баварцу.

Так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей – шефа гестапо Мюллера.

В приемном покое Штирлиц предъявил жетон СД и прошел в палату, где лежала Кэт. Когда она увидела его, глаза ее широко раскрылись, в них сразу появились слезы, и она потянулась к Штирлицу, но он, опасаясь диктофонов, торопливо сказал:

– Фрау Кин, собирайтесь. Вы проиграли, а разведчику надо уметь достойно проигрывать. Я знаю, вы станете отпираться, но это глупо. Нами перехвачено сорок ваших шифровок. Сейчас вам принесут одежду, и вы поедете со мной. Я гарантирую жизнь вам и вашему ребенку, если вы станете сотрудничать с нами. Я ничего не могу вам гарантировать, если вы будете упорствовать.

Штирлиц дождался, пока санитарка принесла ее костюм, пальто и туфли. Кэт сказала, принимая условия его игры:

– Может быть, вы выйдете, пока я буду одеваться?

– Нет, я не выйду, – ответил Штирлиц. – Я отвернусь и буду продолжать говорить, а вы будете думать, что мне ответить.

– Я ничего не буду вам отвечать, – сказала Кэт, – мне нечего отвечать вам. Я не понимаю, что произошло, я еще очень слаба, и я думаю, это недоразумение разъяснится. Мой муж – офицер, инвалид войны.

Странную радость испытывала сейчас Кэт. Она видела своего, она верила, что теперь, как бы ни были сложны испытания, самое страшное – одиночество – позади.

– Бросьте, – перебил ее Штирлиц, – ваш передатчик у нас, радиogramмы тоже у нас, они расшифрованы, это – доказательства, которые невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно: ваше согласие на совместную с нами работу. И я вам советую, – сказал он, обернувшись, всячески показывая ей глазами и лицом своим, что он говорит ей нечто очень важное, к чему надо прислушаться, – согласиться с моим предложением и, во-первых, рассказать все, что вам известно, пусть даже вам известно очень небольшое, а во-вторых, принять мое предложение и начать – незамедлительно, в течение этих двух-трех дней, – начать работать на нас.

Он понимал, что о самом главном он мог говорить только в коридоре. Но понять это самое главное Кэт могла, выслушав его здесь. У него оставалось минуты две на проход по коридору, он подсчитал для себя время, поднимаясь в палату.

Санитарка принесла ребенка и сказала:

– Дитя готово...

Штирлиц внутренне сжался: и не столько потому, что маленький человечек сейчас должен будет ехать в гестапо, в тюрьму, в неизвестность, но оттого, что женщина, живой человек, тоже, вероятно, мать, сказала спокойным, ровным голосом: «Дитя готово...»

– Вам тяжело нести ребенка, – сказала санитарка, – я отнесу его в машину.

– Не надо, – ответил Штирлиц, – ступайте. Фрау Кин понесет ребенка сама. И последите, чтобы в коридорах не было больных.

Санитарка вышла, и Штирлиц, открыв дверь, пропустил Кэт вперед. Он пошел, взяв ее под руку, помогая ей нести ребенка, и потом, заметив, как дрожат ее руки, взял ребенка сам.

– Слушай меня, девочка, – заговорил он негромко, зажав во рту сигарету, – им все известно... Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся, требуй гарантий, требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке: они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня в кабинете. Шифра ты не знаешь, и наши радиogramмы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты – только радист. Все остальное я возьму на себя. Скажешь, что Эрвин ходил на встречу с резидентом в районы Кантштрассе и в Рансдорф. Скажешь, что к Эрвину приходил господин из МИДа. В машине я покажу его фото.

Человеком из МИДа был советник восточного управления Хайнц Корнер. Он погиб неделю назад в автомобильной катастрофе. Это был ложный след. Отрабатывая этот след, гестапо неминуемо потеряет десять – пятнадцать дней. А сейчас и день решал многое...

Через пять часов Рольф докладывал Мюллеру, что русская радистка исчезла из клиники «Шарите». Мюллер неистовствовал. А еще через два часа к нему позвонил Шелленберг и сказал:

– Добрый вечер, дружище! Штирлиц приготовил нам подарок: он привез русскую радистку, которая дала согласие работать на нас. Рейхсфюрер уже поздравил его с этой удачей.

Сидя у Шелленберга, слушая его веселую болтовню с Мюллером, Штирлиц в сотый раз спрашивал себя: вправе ли был он привозить сюда, в тюрьму, своего боевого товарища Катеньку Козлову, Кэт Кин, Ингу, Анабель. Да, он мог бы, конечно, посадить ее в машину,

показав свой жетон, и увезти в Бабельсберг, а после найти ей квартиру и снабдить новыми документами. Это значило бы, что, спасая жизнь Кэт, он заранее шел на провал операции – той, которая была запланирована Центром, той, которая была так важна для сотен тысяч русских солдат, той, которая могла в ту или иную сторону повлиять на будущее Европы. Он понимал, что после похищения Кэт из госпиталя все гестапо будет поднято на ноги. Он понимал также, что, если побег удастся, след непременно поведет к нему: значок секретной полиции, машина, внешние приметы. Значит, ему тоже пришлось бы уйти на нелегальное положение. Это было равнозначно провалу. Штирлиц понимал, что дело идет к концу, и поэтому палачи Мюллера будут зверствовать и уничтожать всех, кто был у них в застенках. Поэтому он сказал Кэт, чтобы она сначала поставила условие: ее ничто больше не связывает с Россией, муж погиб, и она теперь ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки своего бывшего «шефа». Это был запасной вариант, на случай, если Кэт все равно передала бы гестапо. Если бы Кэт осталась у него, он бы так не тревожился, поселил бы ее на конспиративной «радиоквартире» под охраной СС, а в нужный момент устроил бы так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла и никто не смог бы ее найти. Хотя это чертовски сложно. Сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно: каждый второй человек давал информацию на соседа, а этот сосед, в свою очередь, давал информацию на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой тоталитарного государства.

Мюллер три часа работал над первым допросом русской. Он сличал запись, которую представил Штирлиц, с лентой магнитофона, вмонтированного в штепсель возле стола штандартенфюрера СС фон Штирлица.

Ответы русской сходились полностью. Вопросы штандартенфюрера были записаны скорописью и разнились от того, что он говорил русской радистке.

– Он лихо работает все-таки, этот Штирлиц, – сказал Мюллер Рольфу. – Вот послушайте-ка...

И, отмотав пленку, Мюллер включил голос Штирлица:

«– Я не стану повторять той азбучной истины, что в Москве этот арест будет для вас приговором. Человек, попавший в гестапо, обязан погибнуть. Вышедший из гестапо – предатель, и только предатель. Не так ли? Это первое. Я не стану просить у вас имен оставшихся на свободе агентов – это не суть важно: стараясь отыскать вас, они неминуемо придут ко мне. Это – второе. Третье: вы понимаете, что, как человек и как офицер рейха, я не могу относиться к вашему положению без сострадания – я понимаю, сколь велики будут муки матери, если мы будем вынуждены отдать ваше дитя в приют. Ребенок навсегда лишится матери. Поймите меня верно: я вам не угрожаю, просто, даже если бы я и не хотел этого делать, надо мной есть руководство, а приказы всегда значительно легче отдавать тем, кто не видел ваше дитя у вас на руках. А я не могу не выполнить приказ: я солдат, и моя родина воюет с вашей страной. И наконец, четвертое. Мы в свое время получили копии ваших кинофильмов, снятых в Алма-Ате московской киностудией. Вы изображаете немцев дураками, а нашу организацию – сумасшедшим домом. Смешно, это ведь мы стояли у ворот Кремля...

Мюллер, естественно, не мог видеть, как именно в этом месте Штирлиц подмигнул Кэт, и она, сразу же поняв его, ответила:

– Да, но сейчас части Красной Армии стоят у ворот Берлина.

– Верно. Когда наши войска стояли у ворот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина. Так и мы убеждены сейчас, что скоро мы вернемся к Кремлю. Но – в сторону дискуссии. Я начал говорить вам об этом, потому что наши дешифровальщики отнюдь не глупые люди, и они уже многое открыли в вашем шифре, и вашу работу, работу радиста, может выполнить наш человек...

Штирлиц снова подмигнул Кэт. Она ответила:

– Ваш радист не знает моего почерка. Зато мой почерк очень хорошо знают в Центре.

– Верно. Но у нас есть записанные на пленку ваши донесения, мы можем легко обучить вашему почерку нашего человека. И он будет работать вместо вас. Это будет вашей окончательной компрометацией. Вам не будет прощения на родине – вы это знаете так же точно, как я, а может быть, еще точнее. Если вы проявите благоразумие, я обещаю вам полное алиби перед вашим руководством, – продолжал он.

– Это невозможно, – ответила Кэт.

– Вы ошибаетесь. Это возможно. Ваш арест не будет зафиксирован ни в одном из наших документов. Вы поселитесь с моими добрыми друзьями на квартире, где будет удобно девочке...

– У меня мальчик.

– Простите. Вас, скажете вы потом, если увидите своих, нашел после смерти мужа человек, который назвал вам пароль.

– Я не знаю пароля.

– Вы знаете пароль, – настойчиво повторил Штирлиц, – пароль вы знаете, но я не прошу его у вас, это мелочи и игра в романтику. Так вот, человек, назвавший вам пароль, скажете вы, привел вас на эту квартиру, и он передавал вам зашифрованные телеграммы, которые вы гнали в Центр. Это – алиби. В спектаклях и лентах о разведчиках принято давать время на раздумье. Я вам времени не даю, я спрашиваю сразу: да или нет?»

Молчание...

...Мюллер посмотрел на Рольфа и заметил:

– Только один прокол: он спутал пол ребенка. Он назвал дитя девочкой, а в остальном – виртуозная работа.

«– ...Да, – тихо ответила Кэт, скорее даже прошептала.

– Не слышу, – сказал Штирлиц.

– Да, – повторила Кэт. – Да! Да! Да!

– Вот теперь хорошо, – сказал Штирлиц. – И не надо истерики. Вы знали, на что шли, когда давали согласие работать против нас.

– Но у меня есть одно условие, – сказала Кэт.

– Да, я слушаю.

– С родиной у меня оборвалась вся связь после гибели мужа и моего ареста. Я буду работать на вас, если только вы гарантируете мне, что в будущем я никогда не попаду в руки моих бывших руководителей...»

Сейчас, когда жизнь Кэт висела на волоске, а атака на Бормана по каким-то непонятным причинам сорвалась, Штирлицу был совершенно необходим контакт с Москвой. Он рассчитывал получить помощь: одно-два имени, адреса нескольких людей, пусть ни прямо, ни косвенно не связанных с Борманом, но связанных каким-то образом с племянницей двоюродного брата, женатого на сестре деверя его повара...

Штирлиц улыбнулся: это родство показалось ему занятым.

Ждать, когда из Центра пришлют радиста, придется не меньше недели-двух. А сейчас нельзя ждать: судя по всему, дело решают дни, в крайнем случае недели.

Штирлиц рассуждал: отчего Борман не пришел на встречу? Во-первых, он мог не получить письма. Письмо успели перехватить люди Гимmlера, хотя вряд ли. Штирлиц сумел отправить письмо с корреспонденцией, предназначенной лично Борману, и похитить оттуда письмо – дело чересчур рискованное, поскольку он вложил письмо уже после проверки всей почты сотрудником секретного отдела секретариата рейхсфюрера. Во-вторых, анализируя отправленное письмо, Штирлиц отметил для себя несколько существенных своих ошибок. Ему нередко помогала профессиональная привычка – наново анализировать поступок, беседу, письмо и, не досадуя на возможные ошибки, искать – сразу же, не пряча голову под крыло – «авось повезет», – выход из положения. Лично ему отправленное письмо ничем не грозило: он напечатал его на машинке в экспедиции во время налета. Просто, думал он, для человека масштаба Бормана в письме было слишком много верноподданных эмоций и мало фактов и конструктивных предложений, вытекающих отсюда. Громадная ответственность за принимаемые решения, практически бесконтрольные, обязывает государственного человека типа Бормана лишь тогда идти на беседу с подчиненным, когда факты, сообщенные им, были ранее никому не известны и перспективны с государственной точки зрения. Но, с другой стороны, продолжал рассуждать Штирлиц, Борману были важны даже мельчайшие крупинки материалов, которые могли бы скомпрометировать Гимmlера. (Штирлиц понимал, отчего началась эта борьба между Гимmlером и Борманом. Он не мог найти ответа, отчего она продолжается сейчас с такой все нарастающей яростью.) И наконец, в-третьих, Штирлиц отдавал себе отчет в том, что Борман был просто-напросто занят и поэтому не смог прийти на встречу. Впрочем, Штирлиц знал, что Борман только два или три раза откликался на подобного рода просьбы о встрече. А с просьбами о приеме к нему ежедневно обращалось по меньшей мере два или три десятка человек из высшей иерархической группы партийного и военного аппарата.

«Это было наивно от начала до конца, – решил Штирлиц. – Я играл не только вслепую. Я играл не по его правилам».

Завыла сирена тревоги. Штирлиц посмотрел на часы: десять часов вечера. Закат был сегодня кроваво-красным, с синевой. Значит, ночью будет мороз. «И побьет мои розы, – подумал Штирлиц, поднимаясь, – верно, я рановато их высадил. Но кто мог подумать, что морозы продержатся так долго».

Бомбили совсем рядом. Штирлиц вышел из кабинета и пошел по пустому коридору к той лестнице, которая вела в бункер. Возле двери в дублирующий пункт прямой связи – основной теперь был в бункере – он задержался. В двери торчал ключ.

Штирлиц нахмурился, неторопливо огляделся: коридор был пуст – все ушли в бункер. Он толкнул дверь плечом. Дверь не открылась. Он отпер дверь. Два больших белых телефона выделялись среди всех остальных: это была прямая связь с бункером фюрера и с кабинетами Бормана, Геббельса, Шпеера и Кейтеля.

Штирлиц выглянул в коридор: там по-прежнему никого не было. Стекла дрожали – бомбили теперь совсем рядом. Мгновение он думал, стоит запереть дверь или нет. Потом подошел к аппаратуре и набрал номер 12-00-54.

– Борман, – услышал он в трубке низкий, сильный голос.

– Вы получили мое письмо? – спросил Штирлиц, изменив голос.

– Кто это?

– Вы должны были получить письмо – лично для вас. От преданного члена партии.

– Да. Здравствуйте. Где вы? Ах да: ясно. Номер моей машины...

– Я знаю, – перебил его Штирлиц. – Кто будет за рулем?

– Это имеет значение?

– Да. Один из ваших шоферов...

– Я знаю, – перебил его Борман.

Они понимали друг друга: Борман – что Штирлиц знает о том, как прослушиваются его разговоры (это свидетельствовало о том, что человек, говоривший с ним, знал высшие секреты рейха); Штирлиц, в свою очередь, сделал вывод, что Борман понимает то, что он ему недоговаривал (один из его шоферов был секретным сотрудником гестапо), и поэтому он почувствовал удачу.

– Там, где мы должны были с вами увидеться, вас будут ждать. Во время, указанное вами, – завтра.

– Сейчас, – сказал Штирлиц. – Через полчаса.

8.3.1945 (22 часа 32 минуты)

Через полчаса возле музея природоведения Штирлиц увидел бронированный «майбах». Он прошел мимо машины, убедившись, что за ним нет хвоста. На заднем сиденье он увидел Бормана. Штирлиц» вернулся и, открыв дверцу, сказал:

– Партайгеноссе Борман, я благодарен вам за то доверие, которое вы мне оказали...

Борман молча пожал ему руку.

– Поехали, – сказал он шоферу, – к Ванзее.

Потом он отделил стеклом салон от шофера.

– Где я вас видел? – спросил он, присматриваясь к Штирлицу. – Ну-ка, снимите ваш камуфляж...

Штирлиц положил очки на колени и приподнял шляпу.

– Я где-то определенно вас видел, – повторил Борман.

– Верно, – ответил Штирлиц. – Когда мне вручали крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона...

– Сейчас у вас как раз лицо шпиона, а не профессора, – пошутил Борман. – Ну, что случилось, рассказывайте.

...Аппарат, связывавший Бормана с имперским управлением безопасности, молчал всю ночь. Поэтому, когда наутро данные прослушивания легли на стол Гимmlера, он, рассвирепев поначалу, а после, когда гнев остыл, испугавшись, вызвал Мюллера и приказал ему выяснить – только осторожно: кто разговаривал из спецкомнаты правительственной связисегодня ночью со штаб-квартирой НСДАП, с Борманом.

Никаких определенных данных Мюллеру в течение дня получить не удалось. Под вечер ему на стол положили отпечатки пальцев, оставленные на трубке телефона незнакомцем, звонившим Борману. Поразило его то, что, по данным картотеки, такие же отпечатки пальцев уже появились несколько дней тому назад в гестапо и были они обнаружены на передатчике, принадлежавшем русской радистке.

Гимmlер, получив сообщение Мюллера о проводимом расследовании, одобрил его предложение негласно взять отпечатки пальцев у всех работников аппарата.

Мюллер также предложил организовать ликвидацию шофера Бормана таким образом, чтобы создалось впечатление случайной гибели в результате наезда автомобиля на улице, возле его дома. Поначалу Гимmlер хотел было санкционировать это мероприятие, очевидно необходимое, но потом остановил себя. Он переставал верить всем – Мюллеру в том числе.

– Это вы сами продумайте, – сказал он. – Может быть, следовало бы его отпустить вовсе? – отыграл он в сторону, понимая, что ему ответит Мюллер.

– Это невозможно, с ним много работали.

Именно такого ответа и ждал рейхсфюрер.

– Ну, я не знаю, – поморщился он. – Шофер – честный человек, а мы не наказываем честных людей... Придумайте что-нибудь сами...

Мюллер вышел от Гиммлера в гневе: он понял, что рейхсфюрер боится Бормана и подставляет под удар его, Мюллера. Нет, решил он, тогда я тоже поиграю. Пусть шофер живет. Это будет мой козырь.

После беседы с Мюллером Гиммлер вызвал Отто Скорцени.

Он понял, что схватка с Борманом вступает в последнюю, решающую стадию. И если с помощью какого-то неизвестного изменника из СС Борман получил компрометирующие материалы на него, Гиммлера, то противопоставить этому частному факту он обязан сокрушающий удар. В политике ничто так не уравнивает шансы противников, как осведомленность и сила. И нигде не собрано такое количество информации, как в бронированных сейфах партийных архивов. Пусть Борман оперирует человеком. Он, Гиммлер, будет оперировать бумагами: они и надежнее людей, и – по прошествии времени – страшнее их...

– Мне нужен архив Бормана, – сказал он. – Вы понимаете, Скорцени, что мне нужно?

– Я понимаю.

– Это труднее, чем выкрасть дуче.

– Я думаю.

– Но это возможно?

– Не знаю.

– Скорцени, такой ответ меня не удовлетворяет. Борман на этих днях начинает эвакуацию архива: куда и под чьей охраной – это вам предстоит выяснить. Шелленберг поможет вам – негласно, в порядке общей консультации.

10.3.1945 (19 часов 58 минут)

Штирлиц выехал ночным экспрессом на швейцарскую границу для того, чтобы «подготовить окно». Он, как и Шелленберг, считал, что открытая переброска пастора через границу может придать делу нежелательную огласку – вся эта операция осуществлялась в обход гестапо. А «разоблачение» Шлага после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено, по замыслу Шелленберга, именно Штирлицем.

Все эти дни Штирлиц с санкции Шелленберга готовил для пастора «кандидатов» в заговорщики: людей из министерства иностранных дел и из штаба люфтваффе. Там, в этих учреждениях, Штирлиц нашел людей, особо ревностно служивших нацизму. Шелленбергу особенно понравилось, что все эти люди были в свое время завербованы гестапо как осведомители.

– Это хорошо, – сказал он, – это очень элегантно.

Штирлиц вопросительно посмотрел на него.

– В том смысле, – пояснил Шелленберг, – что мы таким образом скомпрометируем на Западе всех тех, кто будет искать мирных контактов помимо нас. Там ведь четко отграничивают гестапо от нашего департамента.

В этом ночном экспрессе, который отличался от всех остальных поездов довоенным комфортом: в маленьких купе поскрипывали настоящие кожаные ремни, тускло блестели медные пепельницы, проводники разносили крепкий кофе, – в этом поезде по коридору Скандинавия – Швейцария ездили теперь лишь одни дипломаты.

Штирлиц занимал место № 74. Место № 56 в следующем вагоне занимал синюшно-бледный профессор из Швеции с длинной, неуклюжей скандинавской фамилией. Они да еще один генерал, возвращавшийся после ранения на итальянский фронт, были единственными пассажирами в двух международных вагонах.

Генерал заглянул в купе Штирлица и спросил его:

– Вы немец?

– Увы, – ответил Штирлиц.

Он имел возможность шутить, ему это было разрешено руководством. Провокация предполагает возможность зло шутить. В случае, если собеседник не пойдет в гестапо с доносом, можно думать о перспективе в работе с этим человеком. В свое время этот вопрос дискутировался в гестапо: пресекать недостойные разговоры на месте или давать им выход? Считая, что даже малый вред рейху – существенная польза для его родины, Штирлиц всячески поддерживал тех, кто стоял на точке зрения поощрения провокаций.

– Почему «увы»? – поинтересовался генерал.

– Потому, что мне не приносят второй порции кофе. Настоящий кофе они дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт.

– Да? А мне дали второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить?

– Спасибо. У меня тоже есть коньяк.

– Зато, вероятно, у вас нет сала.

– У меня есть сало.

– Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки, – сказал генерал, наблюдая за тем, что доставал Штирлиц из портфеля. – В каком вы звании?

– Я дипломат. Советник третьего управления МИДа.

– Будьте вы прокляты! – сказал генерал, присаживаясь на кресло, вмонтированное за выступом маленького умывальника. – Во всем виноваты именно вы.

– Почему?

– Потому, что вы определяете внешнюю политику, потому, что вы довели дело до войны на два фронта. Прозт!

– Прозит! Вы мекленбуржец?

– Да. Как вы узнали?

– По «прозт». Все северяне экономят на гласных.

– Это верно, – сказал он. – Слушайте, а я не мог вас видеть вчера в министерстве авиации?

Штирлиц поджался: он вчера подвозил к министерству авиации пастора Шлага – «налаживать» связи с людьми, близкими к окружению Геринга. В случае успеха всей операции, когда к делу подключат гестапо – но уже по просьбе Шелленберга, для выяснения деталей «заговора», – надо было, чтобы пастор «оставил следы»: и в министерстве авиации, и в люфтваффе, и в министерстве иностранных дел.

«Нет, – подумал Штирлиц, наливая коньяк, – этот генерал меня не мог видеть; мимо меня, когда я сидел в машине, никто не проходил. И вряд ли Мюллер станет подставлять под меня генерала – это не в его привычках, он работает проще».

– Я там не был, – ответил он. – Странное свойство моей физиономии: всем кажется, что меня где-то только что видели.

– А вы стереотипны, – ответил генерал. – Похожи на многих других.

– Это хорошо или плохо?

– Для шпииков, наверное, хорошо, а для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица.

– А военным?

– Военным сейчас надо иметь сильные ноги. Чтобы вовремя сбежать.

– Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком?

– Так вы не знаете моего имени...

– Это очень легко установить, поскольку у вас запоминающееся лицо.

– Да? Черт, мне всегда оно казалось самым стандартным. Все равно, пока вы напишете на меня донос, пока они найдут второго свидетеля, пройдет время – все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую голову вас, дипломатов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.